

4·ЭХО·ЕСНО

1978·PARIS·ПАРИЖ

Э Х О
литературный журнал
4

ПАРИЖ
1978

Журнал редактируют:
Владимир Марамзин
Алексей Хвостенко

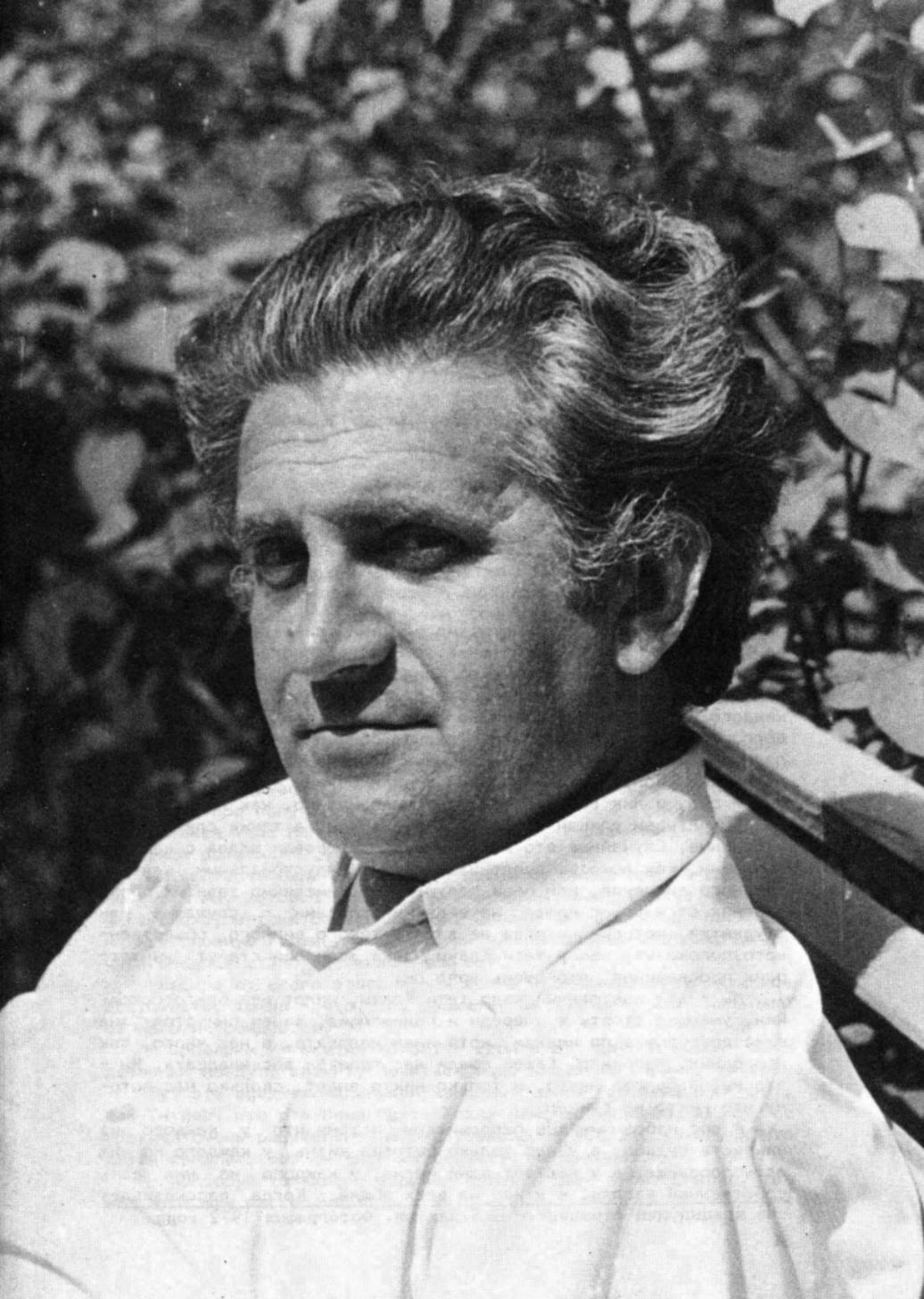
Оформление А.Хвостенко

Copyright © 1978 by review "Echo"

Произведения, распространяемые самиздатом, печатаются
без ведома их авторов.

Directeur responsable N.Secinski

Вся переписка по адресу:
V.Maramzine, 302 rue des Pyrénées 75020 Paris



У ПИВНОГО ЛАРЬКА

РАССКАЗ

Там, где Божий свет четырьмя улицами сливается в одну оза-ренную точку, там, в этой точке, стоит небесного цвета пивной ларек с русской женщиной тетей Клавой внутри - исчадием житей-ской мудрости, горнилом великого опыта. Твердо вливает она в каждого из нас пиво в обмен на свою малую толику выгоды от каж-дого, кроме особо избранных. Твердо, обеими руками с маленькими ладонями и пальцами, но необъятными у плеча. Ее фигура торчит в раме окна, полускрытая сумраком, как и бочки, папиросы и плав-ленный сыр, и лик ее глядит оттуда невозмутимо, как луна.

По четырем улицам сходимся к ларьку мы, а также случайные и избранные. Случайные это какая-нибудь велюровая шляпа с кадыком, торчащим, как локоть, выплунутая нашим индустриальным центром союзного значения, или пара девушек, шестимесячно завитых, обез-умевших от жары, с ничего не видящими глазами - служащие или студентки, которым никогда не заняты такого видного обществен-ного положения, как у тети Клавы, даже если они станут министр-ами просвещения, что очень вряд ли.

Мы - это постоянный кадр тети Клавы, оплот ее благосостоя-ния, умеющие стоять в очереди и понимающие, зачем они стоят, зна-ющие друг друга по именам, хотя имен маловато, а нас много, так что одних, например, Сашек среди нас человек восемнадцать. Мы - это мы, а больше никто, и только никто знает, сколько нас, пото-му что никто не считал.

А вот избранные все пересчитаны, потому что у каждого из них есть судьба, а у нас только бытовая жизнь, у каждого из них есть прозвище, а у нас вот одни имена, у каждого из них есть собственный взгляд, а у нас на всех общий. Когда рассказывает на предыдущей странице - Б.Б.Вахтин. Фотография 1972 года.

избранный, ему не приходится торопиться и бегать глазами с лица на лицо, как приходится нам, и когда он рассказывает смешное, ему не грозит смеяться одному, как нам.

И каждого избранного мы очень уважаем.

Особенно Константина Ивановича по прозвищу Капитан Иванович, или просто Капитан, который приезжает на своем инвалидном автомобиле, похожем на броневик. В далекой молодости он ездил на стоящем броневике и геройски утратил ногу, и он был бы единодушно нашим полководцем, если бы пришло такое время, что мы построились бы в полки.

Мы пошли бы за ним вперед вдоль одной из улиц, на которой государство заботливо открыло гастроном с неиссякаемым запасом четвертинок - неиссякаемым, говорят, в силу неведомых нам святейи тети Клавы.

Мы пошли бы за ним вперед и по главной улице нашего города и дальше, хоть на край света, сокрушая все на своем пути, бессчетные и бесстрашные.

Только нам это сейчас не требуется. Сегодня у нас день предпраздничный и мы почти все в сборе.

За ларьком во дворе есть сад. Там сегодня играет на аккордеоне Славка Коленкор - тоже из избранных, с головой круглой, как арбуз, красным порезом улыбается рот до ушей, и грудь, распирающая ковбойскую рубашку, расстегнутую на все пуговицы, и тельняшку под ней, похожа на утес, а аккордеон - на тучку.

И здесь в саду под цветущими каштанами в предпраздничный день и случилась история, перепутавшая весь порядок у нашего ларька.

Мы частью стояли в очереди, а частью были уже в саду, когда подошел третий избранный, электромонтер по прозвищу Хохол - худой, длинный и злой на язык.

У него было поллитра, и один из нас, чья очередь подошла, взял на него пиво без очереди, и они ушли в сад. И тут прибежала женщина и понеслась за Хохлом туда же и устроила ему там обычный крик про получку.

- Какая тебе получка, - сказал Хохол, - раз ты мне одних девчонок рожаеть?

Мы, которые были уже в саду, легли от смеха при таком аргументе. А мы, которые еще стояли в очереди, разузнали, в чем причина смеха, и тоже развеселились. Славка же Коленкор поглядел на неугомонную женщину и сыграл ей на аккордеоне "Яблочко", от чего веселье стало еще значительнее.

Женщина от всего этого в раж вошла и стала обижать мужское достоинство Хохла - что это, дескать, он виноват, что мальчики от него не рождаются.

- Проверим, - сказал Хохол. - Если и от другой бабы одни девчонки пойдут, значит, лечиться надо мне, а мальчики - то тебе.

Тут эта вредная маленькая женщина совсем обезумела, орет, как Гитлер, изо рта пена идет. Хохлу наконец надоело, и он ее прогнал очень решительно, и она убежала, а убегая, крикнула, что детей пришлет, раз он ей, так сказать, не внемлет.

- Попробуй только, - зарычал Хохол и даже зубы оскалил, так его этот шум рассердил.

- Пришло! - кричала женщина. - Пусть полюбуются, какой у них отец паразит и проходимец!

Женщина скрылась, и жизнь пошла своим чередом среди пива, музыки, гвалта и выпивки. Мы уже не все хорошо стояли на ногах, и было шумно вокруг и зыбко.

- А сколько у тебя дочек, Хохол? - спросили мы.

- Девять, - сказал Хохол.

- А зачем вы это столько напечатали за такой короткий срок? - удивились мы.

Хохол не ответил, за него пояснил Коленкор.

- Парня хотел, вот и печатали, пока не отчаялись.

Время шло, небо над нашим индустриальным центром светлело, готовясь к закату и очищаясь от дыма, и мы, стоящие у ларька, увидели, как в сад прошла девушка в синеньком платье, а за нею три девочки поменьше, в светлом, и у нас оживилось сердце, глядя на девушку - такая она была красивая, прямо, как актриса или балерина. Тетя Клава, заметив наше волнение, выглянула из ларька и сказала:

- Этой шестнадцать. Наташкой звать.

- Шестнадцать? - удивились мы. - Значит, ранняя, раз уж круглая.

- Тонковата, - сказала тетя Клава.

Дочери Хохла исчезли из нашего вида, но волнение осталось с нами, и многие заспешили в сад, а остальные вертели головой, чтобы не прозевать, когда Наташа пойдет назад, и пили пиво, не опуская в него глаза.

А в саду стало тихо.

Потом два-три из нас засмеялись там нехорошим смехом, потом раздался детский плач хором, и мы все пошли туда, даже тетя Клава выбежала из ларька, потому что стало там как-то слишком тихо.

А в саду под цветущими каштанами и под светлым небом происходило вот что.

Когда Наташа подошла к Хохлу и сказала ему еле слышно просьбу идти домой, он вдруг схватил ее длинной рукой за волосы, а другой рукой выхватил из кармана кусок электрического шнура и стал бить ее этим шнуром изо всей силы, и Наташа завилась в его руке жгутом, и тело ее изогнулось и напряглось в неудержимых порывах избавиться от боли. В саду было тесно от нас, стоявших вокруг, и те, что стояли нехорошо, стали стоять лучше, и мы все глядели на эту красоту, которую обижал Хохол, и сердце жарко билось у нас в горле. Сестры плакали дружно, а Наташа не плакала и не кричала, а только гнулась всем существом, и глаза ее были непомерно большими.

Наконец Хохол отпустил ее, и она пошла прочь и, выйдя из сада, тихо заплакала и закрыла лицо руками, а сестры шли рядом, поддерживая ее. И тут Капитан Иваныч завел мотор своего автомобиля и рванул его с места на полную скорость и направил его прямо на Хохла, который дрожащей рукой опрокидывал в рот последние капли из бутылки. Капитан Иваныч мчался на своем броневике, и Хохол едва успел отскочить, а Капитан Иваныч здорово развернулся и снова пошел на него в атаку. И тогда Хохол размахнулся бутылкой, чтобы

уничтожить неприятеля, и наверно уничтожил бы, но Славка Коленкор смахнул с груди аккордеон и бросился на Хохла, как вратарь на мяч, и Хохол рухнул на землю одновременно с аккордеоном, только аккордеон со вздохом, а Хохол без. И тетя Клава засвистела в милицейский свисток и подняла Хохла и повела его прочь, обтирая кровь с его грязного лица, а он обнимал ее рукой, обнажая при всех сущность их взаимоотношений.

- Иди отсюда! - кричали мы Хохлу вслед, а он не огрызался, припав к плечу тети Клавы в великом отчаянии.

Так оборвался мир у нашего ларька и перепутался порядок, и ни Хохол, ни Коленкор, ни Капитан Иваныч не появлялись больше среди нас, разлюбив, наверно, это место, и стало здесь немного не так приятно, как было прежде. Некому было объяснить нам случившееся с точки зрения вообще, и взгляда у нас на случившееся не было. Однажды проехал инвалидный автомобиль мимо и нам показалось, не Капитан ли это, и мы все понеслись за ним со всех ног вдоль улицы и гораздо дальше, но в автомобиле сидел совсем какой-то мальчик, нам совершенно незнакомый.

С человеческим горьким лицом.
За избенкой - дорога кривая.
Ночь беззвездна. Не сыщешь пути.
И квасок с мужичком попивая,
Сладко жить в обезьяньей шерсти.

1968-72

2

Кто пожар скомороший зажег?
Ты ли, Вася, ремесленник смеха,
Человек скоморошьего цеха,
Весь обряженный в огненный шелк,
И душа твоя, ах, весела,
И колеблются почва и твердь,
Пусть горит, пусть сгорает дотла,
Ничего. Это легкая смерть.

1969

обводный канал

А там - Главрыбы и Главхлеба
Немые, пасмурные души.
А там промышленное небо
Стоит в канале.
И боль все медленней и глуше,
А ведь вначале
Была такая боль...
Дым заводской живет в канале,
Чуть брезжит, чуть брезжит осенний день,
И буквы вывески Главсоль
Шагают по воде,
И мнится: я - совсем не я,
Среди заводов и больниц,
Продмагазинов, скудных лиц
Я стал молчанием и сором бытия.

1969

:: :: ::

Заслонить небытие заводом,
Уничтожить сварочной дугой
И в толкучке, с рабочим народом
Пиво пить, говорить о футболе,
Словно не было сумерек боли
И мусора небытия.
Не поймешь, что за силой влеком.
Не поймешь, только дышишь легко.

1969

ДОМ В МОСКОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

Дом в Московском переулке.
Старый, розовый забор.
Кофе, жареные булки
И застольный разговор.
Вот хозяин - сноб, всезнайка,
Лысый череп, важный вид.
Вот прелестная хозяйка
Мне с улыбкой говорит,
Что какой-то их приятель
За границей побывал,
Что знакомый их - писатель
Снова повесть написал,
Что какой-то маг восточный
Моден стал с недавних пор
И что был (известно точно)
Импотентом Кьеркегор.
Странно в домике уютном.
Для чего мне здесь бывать?
Пить с хозяином надутым,
Апельсином заедать?
Но любезны почему-то
Души комнатные свеч,
Воздух милого уюта -
Серо-розовая вещь.
И я славлю тмин и булки,
Ведь за дверью глушь и тьма.
Кто-то бродит в переулке,
Метит крестиком дома.

1969-72

:: :: ::

Легкий мальчик порхает
Беззаботен, любим,
Но слегка раздражает
Игрсловьем своим.
Ах, зачем в самом деле
Он цитаты поет
Из баллад о форели,
Разбивающей лед?
Но тяжелое пламя
Есть в основе вещей,
Есть Играющий нами,
Сорной горсткой людей.
И поэтому нужен
Мальчик-дух, полухмель.
Что сегодня на ужин?
Ну, конечно, форель.
Мировое дыханье

Нынче жжет на меня,
И я славлю порханье
В Божьей длани огня.

1970

:: :: ::

Хорошо на белом свете,
И легко и не болит,
Если девка, если ветер,
Если ласточка летит.

Ты в лицо мое летела
И легка и хороша,
Восхитительное тело
И курортная душа.

Хорошо на белом пляже.
Жизнь, как ветер, хороша,
А заснешь, приснится та же
Девка, ласточка, душа.

1970

:: :: ::

На улицах летнего света
Пить воду и яблочный сок,
Шататься без толку, шататься,
Забиться, не слышать стараться,
Как дышит развязанный где-то
Смертей и рождений мешок.
Как страшен бывает ребенок
Для жалких, никчемных отцов.
Так время, сквозь боль и спросонок
пугает, и прячешь лицо.
На улицах сорного лета
Экскурсии, игры детей
И боль от животного света
Грядущей любви и смертей.

1970

:: :: ::

На заводе умирали
Каждый месяц, чередой,
Их портреты выставляли
В черных рамках, в проходной.

И ручьями заводскими
В чистой лодке похорон

Приезжал всегда за ними
Старый лодочник Харон.

Через дождь, скучанье, горе,
Сквозь надгробные слова
Уплывали души в море.
Там - Блаженных острова.

1970

Лубочная картинка

И сквозь заборы и заводы
Шумят с рассветом поезда.
Едет утром на заводы
Человек - пустыя природы,
И дрожит сквозь непогоды
Близорукая звезда.
Ночью Эрос, ночью Нина,
Утром холод и завод,
Неприглядная картина,
Неприветливый народ.
Будни жизни, бремя боли,
Лишь у Нины дорогой
Ты в любви, как в алкоголе,
Обретаешь свет земной.

1971

× × ×

То ли Фрейда читать
И таскать его басни в кармане,
То ли землю искать,
Как пророческий посох в бурьяне.

То ли жить начинать,
То ли кончить, назад возвратиться
В общерусскую гать,
В эту почву, кричащую птицей.

Или лучше про пьяную кружку
Поэму писать
И ногами подушку,
Как мясо, кусать.

1972

ФАНТАЗИЯ НА ТЕМЫ ГОГОЛЯ

В беде, в болезни и в позоре
Влачит очами человек
Адриатическое море,
Стеклом застывшее навек.

Что человек? Он с неба пролит
На землю бедным молоком,
И беда его неволит,
И страстями он влеком.

Он рожден на ложе плача
В скорби тела, в скорби крови,
Ум колеблет неудача,
Сохнет сердце в нелюбови.

Только пани Катерина
Убаюкает младенца.
О, Италия - картина
Беспощадная для сердца.

1972

ГОГОЛЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

Не Божий град, не сад эфирный
Сквозь дождь и скуку перед ним.
Реальный Иерусалим
Стоит как Миргород всемирный.

И словно хлеб у бедняка,
Черствы слова его моления.
Исчез феномен исцеленья.
Течет Кедрон, полурека.

И в Галилее рыбари
Из той туманной древней дали,
Забросив невод в час зари,
Лишь душу мертвую поймали.

1974-75

М.Л.КОЗЫРЕВА

ДЕВОЧКА ПЕРЕД ДВЕРЬЮ

П О В Е С Т Ь (окончание)

3

Нет, мне не нравится эта Фемида.

Конечно, она много чего знает. И куклы у нее хорошие. Даже глаза у них закрываются. Только они все у нее голые, и вечно у них чего-нибудь не хватает - то руки, то волос, а то и вовсе макушки нет. Хотя зато видно сверху, как устроено, что глаза закрываются. Только это нисколько не интересно.

По утрам Фемиду обтирают холодной водой. А она вопит, как паровоз на вокзале. И мама ей каждый раз повторяет: "Фемида! Куда подевалась твоя воля?" Но Фемиду ничуть не интересует, куда подевалась ее воля, и она воет еще шибче.

Сначала я трусила, что расправившись с Фемидой, родственники примутся за меня. Но им всем хватило Фемиды. А тети юнины планы закаливания моего организма лопнули по причине ее дежурств. Тетя Юна работала фельдшером и дома почти не бывала. В редкие свои выходные она принималась за меня всерьез, но в остальные дни я могла по утрам сколько мне нравится подпрыгивать на диване, разглядывать папины фотографии и прохожих в зеркале за цветком.

В самый первый раз ко мне пришла домработница Таня и спросила, умею ли я сама одеваться и не надо ли мне помочь. Но я даже ей не ответила, так я обиделась. У нас в Москве даже наша маленькая Илика, и та сама одевалась. Только ботиночки путала и приходила к нам в кухню косолапенькая, как утенок. А мы с няней ее переобували.

Сначала меня все время ставили Фемиде в пример. Но это было потому, что я еще не привыкла у них и ела всю морковку, которую в меня пихали. А Фемида против нее, естественно, бунтовала, и весь дом умолял ее покушать еще хоть одну ложечку.

Начало см. "ЭХО" № 3

У них в квартире - куча народу, почти как в Москве. И кроме домработницы Тани, все они мои родственники - и Фемидина мама, и папа, и бабушка, и какие-то две старенькие тетушки - тетя Софа и тетя Эля, которых я вечно путаю, и тетя Юна, которая меня воспитывает, и еще один родственник. Про этого родственника я никак не могу понять - живет он у нас в доме или только приходит в гости и забывает потом уйти.

Родственника этого зовут странно: Нина-Большой. Почему он "Большой", понятно - он, как говорит фемидина мама, "таки да", - большой... Но почему он "Нина"? Но Фемида мне объяснила. Оказывается, когда-то давным-давно, когда были еще на свете богатые и бедные, у этого Большого была бабушка. Она была богатая. И эта самая бабушка захотела, чтобы ей родили внучку Нину. А вместо этого родился Большой. Тогда бабушку обманули и сказали ей, что это и есть внучка Нина. Я так, правда, думаю, что эта их бабушка просто была дура, если могла такого громадного усатого Большого принять за девочку.

Этот самый Нина-Большой сначала, когда только меня увидел, очень меня напугал. Потому что сказал мне, что когда-то он мечтал отбить мою маму у Льва, но, увы, из этого ничего не вышло. Сначала я из его слов вовсе ничего не поняла, а потом вдруг поняла так, будто это на мою маму напал лев и этот самый Нина со львом дрался. Но тогда выходило, что про командировку мне всё наврали, а маму мою (и папу, очевидно, тоже) съел лев. И я заорала Нине, чтобы он не врал, что мама и папа в командировке и никакой лев их не трогал, чтоб он не врал!..

Нина страшно перепугался моего крику. Он сел на корточки и долго мне объяснял, что я его не так поняла, что это моего папу зовут Лев, такое у него имя. А он - Нина - был в мою маму влюблен, но отбить ее у Льва (это у твоего папы) не смог. Но с этим уж ничего не поделаешь... А командировка - это пустяки, она когда-нибудь кончится, и тогда мы с тобой увидимся с мамой, это я тебе обещаю...

И я простила Нину. Я решила, что когда мама вернется, я уговорю, чтобы она женилась и на Нине-Большом тоже.

4

Нина-Большой знает очень много. Оказывается, например, Земля круглая. Наверху живем мы, а внизу Антиподы. У них все шиворот-навыворот: ходят они вверх ногами, и когда у них зима, у нас лето, и когда мы ложимся спать, Антиподам пора завтракать.

Эта дура Фемида про Антиподов, конечно, не поверила.

Ни во что хорошее она верить не желала ни за что. Она сказала, что про Антиподов это вранье и про Плотникову Жену тоже, а про ангелов - так и вообще.

- Мама! - завопила она, - а Вика верит в ангелов!

И фемидина мама стала мне объяснять, что про ангелов придумали старые глупые люди, а я уже большая девочка и даже буквы

знаю, и мне стыдно верить в подобную чепуху. Ангелов никто не видел, и значит, их нет.

Я даже обомлела от такого заявления.

- А как же их тогда нарисовали? - спросила я, потрясенная.

- Ага! - сказал Нина-Большой. - Рая, сдавайся! Один-ноль в ее пользу.

Но тетя Рая не сдалась. Она смотрела на меня с состраданьем и объяснила мне, что раньше верили в этот дурман и художники по заказу попов рисовали ангелов по воображению. Потому что на самом деле ангелов не существует, так что видеть их они не могли. И только придумывали, чтобы глупые люди молились.

На минуту я испугалась. А вдруг она права, и ангелов нет? Но тогда получается, что и моих папы и мамы тоже нет. Потому что я уже и вовсе не могу вспомнить, какие они, а ангелов, особенно одного, - который корону сзади держит над Плотниковой Женой в маминной Истории искусств - я даже очень хорошо помню. Пожалуй-ста! Хотя сейчас могу пойти поглядеть на него, потому что няня мне эту книжку с собой дала... Но тут меня осенило:

- А воробьев, что ли, тоже нет? - спросила я.

- Господи! При чем же здесь воробьи?! - воскликнула тетя Рая, захлопав глазами.

Фемида открыла рот, кажется, вроде бы для того, чтобы начать скакать, крича, что и воробьев нету. Но спохватилась, закрыла рот и стояла, сбита окончательно с толку, ибо что ни говори, а воробьи несомненно были. Нина же Большой страшно захохотал и закачался в качалке, взбрыкивая ножищами чуть ли не до потолка.

- Я говорю тебе, Раиса, не берись сражаться с дочерью Маргариты и Льва! Она тебя уложит на обе лопатки.

Меня немного удивило, как это я могу уложить громадную тетю Раю на обе лопатки, но что я победила, я поняла отлично. А главное, мне понравилось, что я, оказывается, - Дочь Льва и Маргариты. И что раз так, то значит, они существуют на самом деле, и я про них не придумала.

5

Дело в том, что последнее время я обнаружила интересную вещь. Оказывается, если хочешь, то можно придумывать про что угодно.

Начала я скромно. Я стала придумывать про то, как мне подарили куклу. Куклу звали Иликой. Она была целая, макушка у нее, конечно, была на месте. Она была не голая, а в пальтишке с капюшончиком и в башмачках. Потом эта Илика обросла кроватью и буфетом, как тети раин, только малюсеньким.

После этого Илика стала говорящая, а мы с ней решили рассказать Отелло о Дездемоне всё про платок и про Яго, и чтобы Отелло проткнул Яго саблей и больше никогда не ссорился с Дездемоной.

Дело в том, что эта окаянная Фемида притащила из отцовского шкафа Шекспира и, как дважды два, при помощи иллюстраций доказала мне, что Отелло Дездемону таки да - задушил...

И вот тут я взбунтовалась. Это был какой-то неправильный Шекспир! Я решила его переделать. У моего Шекспира Корделия приезжала верхом на коне и в латах (смотри иллюстрацию к Генриху VI, часть I, акт III, сцена 3, изображение Жанны д'Арк), прогнала вон Гонерилью с Реганой, а Ромео с Джульеттой не умирали, а шли учиться в девятый класс...

Все эти истории я потихоньку рассказывала Нине-Большому. Вечерами мы с ним забирались в качалку и там шепотом, с книгой в руках наводили у Шекспира порядок. И Нина-Большой очень мне помогал. Про Ромео и Джульетту, например, это он придумал. И Виолу выдать замуж за шута Фесте я вряд ли бы сама догадалась.

6

В конце концов Нине сказали, чтобы он не морочил ребенку голову, которая и без того задуренная, и Шекспира у нас отобрали.

Но тут дядя Нина принес к нам в дом "Мистера-Твистера". И вдруг, так оказалось, что это опять было про Отелло и Дездемону. Хотя, если говорить по-честному, Дездемоны там все-таки не было (нельзя же было зачислить в Дездемоны девицу с мартышкой в руках даже при нашем буйном воображении?), но зато, конечно, там был Отелло! И он был здесь - в Ленинграде, в Англере (улица Голя, третий подъезд)... И он был не страшный дурак с подушкой, которому ничего уже нельзя объяснить, а "...шел он спокойно и трубку курил". Если говорить по-честному, то Мистеру-Твистеру я тоже сочувствовала. Что с него взять, с бедного буржуя, раз он ничего здесь у нас понять не может?

Но конечно, самое-самое главное в "Твистере" это была - контора Кука! Про контору Кука было сказано так:

...если вас одолеет скука,
и вы захотите увидеть мир -
остров Таити,
Париж
и Памир,
Кук для вас в одну минуту
на корабле приготовит каюту,
или прикажет подать самолет,
или верблюда за вами пришлет.

Горы и Недра,
Север
и Юг,
Пальмы и кедры
покажет вам Кук!

Ну, так пожалуйста! Я захотела! Я захотела увидеть Горы и Недра, Пальмы и Кедры! Я захотела, чтобы за мной прислали верблюда и мы бы сели на этого верблюда с Ниной-Большим... Или с Ниной-Большим и с куклой Иликой... И еще с Отелло и Дездемоной. И мы бы поехали на нем к няне Груше. И к Маме с Папой в командировку. А потом с нами вместе... только одного верблюда

нам было бы, пожалуй, мало. Ну тогда пусть Кук пришлет за нами еще одного верблюда. Или пароход. Пароход - это даже, пожалуй, еще лучше. И мы бы все вместе поехали на нем к Антиподам!

7

Что-то странное происходит у нас в доме...

Взрослые сидят за столом молчаливые, тихие. Они не смотрят на нас с Фемидой, не замечают, что мы отдали Тане почти полные тарелки моркови. В другое время на нас накинудись бы со всех сторон. Но что-то у них сегодня произошло, потому что они даже не замечают, как мы потихоньку жрем черный хлеб, а Фемида даже мажет его горчицей.

Все тети (и моя тетя Юна, которая меня воспитывает) сидят и молчат. И только когда Рая манет тарелки, уходит, тетя Рая чиркает спичкой, закуривает и говорит - хоть и басом, но очень тихо:

- И все-таки, Юна, ты не права. Там... - Сказав это слово, тетя Рая показывает пальцем на потолок. - Там, - повторяет она уже потише и выпускает столб дыма из ноздрей, - там не ошибаются. Или это какое-то дикое недоразумение, и завтра оно рассеется, как дым (и тетя Рая манет рукой, чтобы показать, как оно рассеивается). И завтра Нина будет здесь с нами, и все мы будем страшно хохотать над сегодняшним эпизодом. Или же нам остается думать, что, как это ни противоестественно, но Григорий все же в чем-то замешан. Ведь почему-то моего Евгения, - и она указывает на молча жующего фемидино папу, - не вызывают. Не так ли?

- Я бы попросил... - неопределенно мычит фемидин папа. - Я бы попросил тебя, Рая, этот разговор прекратит.

И он уходит к себе в кабинет.

Но разговор не прекращается. Одна из тетей, которых я всегда путаю, сначала слегка вздыхает, а потом начинает говорить что-то не очень понятное про всегдешнее юнино легкомыслие, которое ведь может отразиться и на других.

- Я, конечно, не говорю про ребенка, хотя и в этом все же не следовало поступать очертя голову, и эта странная вызывающая фотовыставка в комнате Юны, уж кажется, без этого можно было бы отлично обойтись...

И тут крохотная моя тетя Юна встает и делается внезапно большой, почти как Нина-Большой, который, оказывается, Григорий и в чем-то, быть может, замешан. Очи тети Юны сверкают.

- Софья! - говорит она громовым голосом, - ты всегда была не умна, но это предел! Идем отсюда, Виктория!

Тетя Юна берет меня за руку, и мы уходим с ней в ее комнату. И у меня почему-то остается туманное впечатление, что причиной того, что в доме неладно, и того, что Нину-Большого-Григория куда-то вызвали, и того, что, как мне кажется, "страшно хохотать" мы завтра будем навряд ли - что причиной всему этому являюсь почему-то я...

.....

Мне разрешили гулять во дворе одной. Это очень хорошо. Я сижу на газоне и лопаткой копаю в земле дырку. Я копаю уже третий день. Дырка уже большая. Чтобы взрослые ничего не заметили, я засыпаю дырку опилками от попрыгайчиков.

Когда я выкопаю Землю насквозь, я убегу к Антиподам. Потому что здесь мне уже все надоело.

.....

Я теперь все путешествую и путешествую. И меня все возят и возят...

Сначала я жила у какой-то тети Лизы, которая боялась соседей. А потом у ее подруги Таши, у которой за ширмой пряталась елка, и по вечерам мы с тетей Ташей зажигали свечки и завешивали окна и дверь одеялом, чтобы никто не увидел елку.

А потом за мной приехал мой двоюродный брат Глеб, и я жила у него и его жены Люси и у моего племянника Лёки.

А потом случился пожар, и мы стояли с Лёкой и Лидой - дочкой нашей хозяйки - и смотрели, как Глеб с Люсей и с нашей хозяйкой Дашей и с другими соседями с нашей улицы, выстроившись цепочкой, от одного к другому, как будто это у них такая игра, передавали друг другу ведра с водой. Небо было черное, а огонь красный, и искры сыпались в разные стороны, а люди были, как фигурки из фотобумаги, которые мне вырезал Нина-Большой...

И меня опять куда-то повезли.

И я все сижу и сижу на столике, и смотрю в вагонное окошко, и ем бутерброды с котлетами... А меня всё передают и передают друг другу, как то ведерко...

Но вот поезд подкатывает к перрону. И снова какой-то не то мой родич, не то знакомый родича берет меня под мышки и передает вниз. Внизу на перроне стоит няня Груша. И с ней рядом нестерпимо прекрасная женщина, похожая на всех моих ангелов сразу и даже на Плотникову Жену в придачу (только более худая)... На темных ее кудрях "фик-фок-на-один-бок" одет берет с перышком, и пушистое меховое боа лежит на плечах поверх жутного серого ватника.

Женщина протягивает ко мне руки, а я обалдело гляжу на нее и говорю очень вежливо:

- Здравсьте, тетя... То есть... тьфу...

Но дальше я договаривать не решаюсь.

ВЕРБЛДСКИЕ ХРОНИКИ

I

полу-таратонка

В свете фар большие грузовики, доверху груженные зерном, мчатся навстречу.

...Это, наверно, Таратонки. А наш - маленький - Полу-Таратонка. Полу-Таратоночка. Полу-Таратончик!

В кузове мы трое - папа, мама, я... В ногах у меня решето с виноградом. Не кисточка, не кулек, а целое решето.

Мамины волосы хлещут по ветру. Возле моей щеки папино плечо. Нужно как можно крепче держать его за руку, за рукав и не разжимать. А то возьмет и окажется, что я сплю, что нет ничего - ни дороги под фарами, ни решета с виноградом, ни папиного плеча под щекой.

Мои мама и папа вернулись из командировки.

Иликина мама сказала, что это чудо. Что этого не может быть. Что так не бывает!.. Но это было!

Сначала вернулась мама. И год мы с ней жили одни без папы у разных квартирных хозяек. Потому что няни грушину комнату забрала себе для своего двоюродного брата их соседка Лизка, а няню Грушу взяла жить в свою комнату иликина мама.

А потом мы получили письмо от папы. Папа нам написал, что вот-вот приедет. И я сказала Фелику - сыну нашей квартирной хозяйки: - Вот попробуй только, толкни меня еще раз! Мой папа, знаешь, как тебе наподдает!

- Ну и врешь, - сказал Фелик. - Нет у тебя папы.

- Нет есть, - сказала я. - Вот письмо папино. Он - вот-вот приедет.

- Па-адумаешь, письмо... - протянул Фелик.

Но больше он меня не толкал.

Мы с мамой долго-долго ждали, когда папа приедет вот-вот. Мы вычистили и отгладили папины брюки и отдали починить ботинки, а папы все не было. А потом пришло второе письмо. Папа нам написал в этом письме, что к нам не приедет, потому что у него "Минус сто".

- Минус сто - чего? - спросила я маму.

Но мама мне не объяснила и стала читать письмо дальше. А дальше в письмо было про то, что папа поступил на работу преподавателем иностранных языков и переводчиком в одно место, которое называется "Верблюд".

"И обязательно скажи Витьке, - писал папа, - чтобы брала с собой зонтик. Потому что верблюды здесь шастают по улицам вместе с собак и жутко плюются."

И еще чтоб мы быстренько собирались и приезжали.

И мы собрались и поехали. Мы приехали в город Ростов, и папа нас встретил. Под мышкой у него было решето с виноградом, так что целоваться папа мог с нами только по очереди. А шофер Полу-Таратонки стоял рядом и ждал, пока мы нацелуемся. Потом ему надоело ждать, он забрал у папы решето, меня вместе с решетом посадил в кузов и помог залезть маме. А папа залез сам. И мы поехали.

- Папа, - говорю я сонным голосом, - а зонтик мы не купили. Папа качает головой.

- Да, это плохо. Но на первый случай мы оденем противогазы.

- Пап, а где мы будем жить? У квартирной хозяйки?

- Мы не будем жить, а уже живем (ибо у меня там уже стоит мой сидор) в домике на улице Специалистов, где есть две комнаты, кухня, терраса, чердак, подвал, два стула и диван. И ванна в проекте. Диван - чудовищный. Ты, Мага, испугаешься. Как у зубного врача.

У мамы глаза делаются большие-пребольшие.

- Левка, ты врешь!

- Клянусь! Но не спрашивай, как мне сие удалось.

- А как тебе сие удалось? - немедленно спрашивает мама.

- Тайна!

Я не верю своим ушам.

- Мы, что ли, будем квартирная хозяйка?

- Вот еще! - удивляется папа. - Зачем нам?

- Мы будем жильцы? - спрашиваю я, стараясь не выдать своего отчаяния.

Мама отлично меня понимает. Она притягивает меня за плечи и прижимает к себе.

- Мы будем - не жильцы и не хозяйки. Просто мы будем жить там.

- А разве так бывает?

- В стране под названием "Верблюд", - гордо говорит папа, - бывает все.

И шепчет таинственно:

- А сейчас держи решето крепче... Мы проезжаем поселок под названием "Злодейская"! Имей в виду, пользуясь тьмой, злодеи могут напасть в любое мгновение.

Я смеюсь. Что мне теперь все злодеи Злодейской?! Мы будем ни жильцы - ни хозяйки! Мне не страшно решительно ничего!

Мирно побрехивают в темноте злодейские собаки. Редкие огоньки уснувших злодеев остаются позади... Я прижимаюсь к папиному боку и засыпаю.

...А я утверждаю, Маргарита Викторовна, что Вика брала мой будильник! Я утверждаю, что она его заводила. В противном случае, почему он прекратил играть? Ведь до этого же он играл, не так ли?..

...Нам совсем недалеко, Витек. Вот мы сейчас перейдем рельсы - видишь, поезда нет, можно идти. А потом лес, а за ним уже и дом, где мы теперь будем жить... Ты не смотри на эти огоньки,

Это не волки, это собаки, они тоже любят гулять в лесу. Они добрые, они нас не тронут...

...Мам, а ты зачем зажигаешь спички? Мам, смотри - собаки уходят. Собаки, что ли, не любят, когда зажигают спички?

...Ваши документы, гражданка. Можете войти в дом, забрать свои вещи. Дом печатывается...

...А как же наша хозяйка...

...Ваша хозяйка пре-про-вождена. Пре-про-вож-де-на-пре-про...

- Витька! Витька, проснись скорее! Смотри, лиса на дороге!

Я приоткрываю один глаз.

Освещенная фарами, самая настоящая лиса, рыжая, как на картинке, перебегает дорогу. Полу-Таратонка рывкает на лису. Лиса прибавляет ходу и, уже в безопасности, из кустов обиженно твоякает нам вслед.

...Вот это да! Еще и лиса в придачу...

2

первый день

Утром я просыпаюсь, скатываюсь с дивана, кое-как напяливаю ботинки и, ударяясь об наши чемоданы и стопки книг, мчусь к окну - надо же увидеть, наконец, живых верблюдов! Что они меня оплюют, я не очень уж опасуюсь. Похоже на то, что папа про это придумал. Что-то мне вчера показалось, будто папа у меня иногда врет...

Я распахиваю окно и сажусь на подоконник. В Москве, когда мы уезжали, было уже холодно, лил дождь, мы были в пальто и галошах, а здесь солнце шпарит всюю.

Улица наша прямая, как палка. С обеих сторон ее идут одинаковые кирпичные домики в один этаж, с двумя верандами каждый и с низенькими зелеными заборами. И вдоль всей улицы тоненькие деревья с резными листьями и с маленькой, как тарелочка, тенью. Улица совершенно пустая. Ни одного верблюда, как назло, нет. Людей - тоже нет. Наверное, все специалисты разошлись по своим специальностям.

Но вот далеко впереди появляется облако пыли.

Наконец-то! Ну, вообще-то я верблюдов в зоопарке видела. Но этот какой-то... Наверное, он просто еще маленький, потому что облако невысокое. Но пока я все-таки сижу и раздумываю, не хлопнуть ли мне на всякий случай окно, пыль рассеивается и в ней становится виден почти голый (если не считать трусиков) мальчишка, на ходу жрущий кусок арбуза. По щекам мальчишки и по животу течет сок, присыпанный пылью, так что вид у него страховитый.

Доев все, мальчишка ногой закидывает арбузную корку к нам через заборчик и торжествующе вопит на всю улицу:

- Ну и на-ар-р-бузился я!!!

3

первый день (продолжение)

Ну, у меня, оказывается, папа и врун!

Никаких верблюдов тут нет. А просто такое название. И в Злодейской, которую мы проезжали, тоже наверняка отроду ни одного злодея не водилось. Назвали так, и всё.

"Верблюд" - это так называется станция. А где мы живем, и все все дома, и институт, и Шаманский Садик, и отделения - это все "Учебно-опытный зерносовхоз № 2". Но так его, конечно, не называют. Только в газете и на Первое Мая. А говорят просто "Верблюд". А мы - "верблюжане". А на станции дежурная кричит в трубку: "Але, але! Говорит дежурный верблюд!"

Вовка привел меня на станцию послушать, но к сожалению, она кричала совсем не это, а про какую-то мануфактуру, которую выбросили вчера в поселковый.

Станция здесь - просто маленький домик, и красный цветок на окне, и куры гуляют, как будто там кто-то живет внутри.

Рядом со станцией растут два высоченные дерева. Вовка мне сказал, что раньше когда-то, когда они только еще приехали сюда, в Верблуде была голая степь и только эти два дерева и росли на станции. И дули такие ветры, что Вовка три раза... ("нет, даже четыре!") - летал по воздуху!

- Ты думаешь, я тебе вру? Вот честное слово... Теперь таких ветров не бывает, потому что везде деревья. И роща, и Военведский Садик - там летчики живут - это за рощей... И Институтский Садик, и акация везде - это деревья такие - вот увидишь, у них цветы жутко вкусные, я один раз целый таз съел, только потом живот болел... И еще Шаманский Садик - мы сейчас пойдем туда, это за нашим домом. Там рядом больница. Мой отец хирургом работает... Мы, знаешь, когда сюда приехали? Здесь ничего не было! Одни палатки. Мы тоже в палатках жили. А потом вон в том доме - Первый называется. В нем те, у которых дети, жили. А остальные в палатках. И директор тоже в палатке. Он теперь вон в том коттедже живет. К нему потому что семья приехала. Ирка и Женька. Только я с Женькой не вожусь - он из себя строит. А у нас свой дом. Тот - с башенкой, деревянный, видишь? Тут все дома цементные, или кирпич, или еще глиняные - на отделениях. А наш - деревянный. Только мы туда сейчас не пойдем. А то мать заставит козье молоко пить. Оно очень полезное, вот увидишь, она и тебя заставит... Мы этот наш дом знаешь откуда привезли? Из Иркутска. Это маминого деда дом. Мамин дед знаешь кто? Декабрист. Вот не веришь? Честное-Ленинское-Сталинское-Всех-Вождевское...

Из вовкиных бесконечных речей, и от всего вновь увиденного, и от солнца, и от мягкой доброй пыли - я чувствовала себя слегка обалдевшей. Я давно уже сняла ботинки. Мы тащили их вместе -

я один ботинок, Вовка - другой. Я в жизни не ходила босиком. Это было наслаждение. Хотя иногда я пребольно накальвалась на острые кусочки угля, валяющиеся повсюду.

- Ну, прыгай через канаву, - сказал Вовка. - Нам сюда.

- А нас не прогонят? - спросила я шепотом.

Шаманский Садик меня потряс. Это был не садик, а садище! В нем было тихо-тихо. Только гудели пчелы да изредка шмякались в траву огромные иссиня-черные сливы. Каждое дерево в саду было выкрашено внизу в белую краску, и от этого казалось, будто это не деревья, а кудрявые девочки в носочках.

Вовка нагнулся и подал мне из травы целую кучу слив - штук шесть. Он сказал мне, что из травы можно - Шаманский не заругает.

Сливы брызгали соком. Они пахли деревьями, летом, они пахли всем этим удивительным днем. Те, которые мне доводилось есть раньше, вообще ровно ничем не пахли, разве что оберточной бумагой и кипятком, которым их обваривала тетя Юна.

Мы ели сливы, а Вовка рассказывал мне, что весь этот сад - "это не всё, он еще и туда дальше, там еще розы и земляника, только она уже кончилась, а в июне ее пропасть! Во всех ларьках, и из Ростова даже за ней приезжают..."

И розы, и Военведский Садик, и всё-всё, и акации, и клен - все это насадил дед Шаманский...

- Сам? Один? - спросила я недоверчиво. Я уже начала подозревать, что Вовка этот тоже врун не хуже моего папы.

Сначала Вовка начал было уверять, что да - сам. Но потом устыдился и сказал, что деревья, правда, сажали все и что в этом саду летом работают школьники и студенты из института, где будет работать мой папа. Но что главный тут все равно - Дед Шаманский.

От съеденных слив и от гудения пчел я все больше проникалась почтением к всемогущему деду, во владениях которого мы пиروвали. В общем-то, я скорее была довольна, что Великий и Могучий Шаманский Дед нам не показывается. Только мне было удивительно, что такой распрекрасный сад стоит открытый - заходи кто хочешь. Прошла какая-то девушка с ведром и кисточкой, подмазала дерево и ушла. На нас она даже ни разу не взглянула, хотя у нас явно было за каждой щекой по сливе.

Мы лежали в траве и болтали ногами, и мне никуда не хотелось идти отсюда. Но Вовка сказал, что я еще не видела института и что он знает у него сзади одну угольную кучу, на которую если залезть, то можно потом оттуда забраться на балкончик.

Институт стоял прямо посередине Верблюда. Он был весь белый, громадный и похожий... Я даже не поняла, на что, только не на дом. Может быть, на корабль или на замок. Но Вовка сказал, что на трактор. Так он задуман, потому что институт этот, и клуб, и школу, и НИМИС, и ресторан, и нашу улицу Специалистов - строили ученики Кар-бузь-е. Но когда я спросила Вову, что это за "Арбузь-е" такое, он назвал меня душой и сказал, что это не "что", а американские слепцы и что мой папа у них переводчиком. "Слепы" - это тоже мне было не очень ясно, но больше спрашивать я уже не решилась, чтобы еще раз не получить "дуру".

В институте было пусто и гулко. Широленные лестницы шли винтом из этажа в этаж. Перила у них были гладкие и такие широкие, что можно было проехаться, даже сидя на корточках. Я, правда, все-таки держалась, а Вовка - без рук!

Везде были всякие переходы и галереи, и залы, и окна во всю стену. В одно окно было видно нашу улицу Специалистов, и вовкин дом с башенкой, и Шаманский Садик, а за ним кладбище и больницу, а еще дальше - поля и беленькие домики за ними - это уже были Отделения, - сказал Вовка. А в другом окне был "Центр" - клуб, и ресторан, и директорский коттедж, и НИМИС. Что такое "НИМИС", Вовка, оказывается, не знал. А дальше была школа.

- Ты в какой класс пойдешь? - спросил Вовка.

Я сказала, что в первый.

- Вот еще, ты что, не грамотная, что ли?

Я ответила, что я грамотная и что я уже прочитала Шекспира и "Гулливера", академическое издание (Вовка поглядел на меня с уважением, правда, я благообразно умолчала, каких трудов, слез и скандалов стоило тете Юне это мое учение грамоте по академическому "Гулливеру" и как после этого я возненавидела его - Гулливера - на всю дальнейшую жизнь), но что все равно - мне восемь лет и поэтому мне положено идти в первый класс.

Вовка сказал, что это пустяки, чтобы записывалась сразу во второй, только не в "А", а в "Б", потому что в "А" всякие "директорские штучки" и вообще скукота...

Стало темнеть. Вовка подпрыгнул и включил выключатели. Загорелся свет, и по пустым институтским залам и даже за его громадными окнами протянулись наши две великанские тени чуть ли не через весь Верблюды.

И только тут, наконец, я с ужасом сообразила, что во-первых, понятия не имею о том, где находятся мои башмаки, а главное, что утром я вылезла в окно, даже не спросившись у мамы, которая распахивала в кухне кастрюли.

4

ДИРЕКТОР

На следующее утро мы с папой прибывали маминого Беноццо Гоццоли на стенку - папа прибывал, а я держала гвоздики, - и вдруг дверь распахнулась, и в комнату безо всякого стука вкатился усатый дяденька с портфелем под мышкой. На дяденьке был грязный белый пиджак, из-под пиджака была видна какая-то сетка, а из-под сетки торчала дядькина шерсть.

Папа повернул к нему голову, вынул изо рта гвоздь и сказал вежливо:

- Добрый день, Валентин Павлович. Так не криво? Дай мне еще один гвоздь (это уже ко мне). - И погнув еще два гвоздя, добавил:

- Очень у вас гвозди скверные, Валентин Павлович.

- Так-с... - сказал дядька. - Картинки вешаем...

Мама вошла в комнату, и я схватилась за нее. В комнате отчетливо запахло квартирными хозяйками.

- Познакомьтесь, - сказал папа, - Маргарита Викторовна - моя жена.

- Очень приятно. Марголин, - буркнул Валентин Павлович.

И вдруг бросил свой огромный портфель на пол и заорал плачущим голосом:

- Это все очень мило и трогательно! Но кто вам дал право занять эту квагтигу?!

Папа поправил еще раз Гоццоли, слез со стула, отряхнул руки и сказал удивленно:

- Как кто? Вы.

- Я?!

- Вы же мне сказали: как только будет доделана первая подходящая площадь, вы меня в нее вселяете. Это вполне подходящая. На большую я не претендую.

- Послушайте, Гогдон... - Дяденька внезапно успокоился и поднял свой портфель с полу. - Демагогию вы мне не разводите. Я сам демагог. И я вас выселю. Так что кагтинки - это вы гано вешаете. Не на улицу, конечно, выселю. В Десятый дом.

- Десятый дом, - металлическим голосом сказал мой папа, - меня не устраивает. Я - переводчик. Ко мне приходят иностранные специалисты, а с вашего Десятого каждый месяц крыша по всему совхозу летает.

- А это меня не волнует, - сказал безжалостный Валентин Павлович. - Сами они эту дугацкую кгышу спгоектиговали, вот пусть и любят. Не кгыша, а ковер-самолет какой-то. Кагбюзье... - сказал он с презрением. - И как будто вашего Левку Скейлагда можно чем-то здесь у нас удивить! Вместе в очегеди за кипятком стояли... и в убогную...

Дяденька снова забегал по комнате и закричал:

- И вам известно, кому я обещал эту квагтигу?

- Мне известно, - невозмутимо отвечал мой папа, - что два месяца назад вы ее обещали мне.

- Два месяца назад мне еще не пгислали эту... этого... Что, я его к себе в дигектогский поселю? Благодагю покогно. А остальной фонд у меня весь.

- А если в одноквартирный? - после раздумья спросил мой папа. (Он явно начинал сочувствовать Валентину Павловичу.)

- Кого?! Хмыгя этого? - Валентин Павлович даже захохотался от возмущения. - Жигно с него будет. Нет уж, одноквартигный - это я стгою для Михайлова.

- А почему бы, - сказал папа, - Михайлова вам не поселить к себе в директорский? У вас же там вторая квартира свободна.

Папа и Валентин Павлович теперь сидели на диване и курили. Похоже было на то, что сию минуту нас выселять не будут. Но тут Валентин Павлович опять рассердился.

- Послушай, Гогдон! Кто дигектог совхоза - ты или я? Вот беги мой портфель и садись в мое кгесло - будешь меня учить... Профессор Михайлов - это муждунагодный класс! То, что он к нам пгехал, это, вообще, Бога надо благодагить.

- Ну, не Бога, - сказал папа, - а...

- Ладно, помалкивай, - сказал директор. - Все вы тут у меня... Но меня это не интегесует. Мне совхоз стгоить. И мне Михайлов нужен. А у меня кгыша течет. И иркины кролики по всему участку.

Папа засмеялся.

- Вот уж сапожник без сапог. Почините крышу.

- А почему у вас кролики? - спросила я.

Я совсем перестала его бояться.

- Иркины, - объяснил директор. - На биолога собирается. И Женьку целый день на скрипке муштруют. Тут не то что Михайлов - сам сбежишь.

Директор вздохнул.

- Дай попить, - сказал он мне совсем кротко. - У вас вода есть?

- У нас только сырая, - ответила я, - она вредная.

- Ничего, дай вредной.

Я налила на кухне воды в чашку и принесла директору. Он выпил и вдруг застонал, схватившись за голову.

(Ну, пожалуйста! Я ж знаю, что сырую пить вредно...)

- Боже мой! - взвыл директор. - И водопровод! Единственный на всю улицу водопгвод провели для этого типа...

- И ванна в проекте... - подсказал папа.

- Ванну подождешь, - твердо сказал директор.

И мы с мамой подмигнули друг другу. Становилось ясно, что мы никуда не уедем отсюда.

- Я поставлю чайник, - сказала мама. - Витя, пойдй, распакуй чашки.

5

"...Нужно соблюдать обряды.

- А что такое обряды? -

спросил Маленький принц."

- Ось ветры, скаженные, лютуют, як собаки! - в отчаяньи вопит соседка, гоняясь за простынями.

Над клубом носится двухметровая афиша с Любовью Орловой.

Снежные вихри рвут у меня из рук портфель. Я стою на одной ноге в ожидании, чтобы кто-нибудь добрый выволоч мой бот из грязи.

А возле кустов, с подветренной стороны Институтского Садика, там, где днем уже коснулись земли отметины солнца, прокалываются подснежники с лепестками в синюю бархатную полоску, нежными, как иликина ладошка, и с белым, хрустящим на зубах корешком. Съесть корешок надо, чтобы ощутить вкус не наступившей еще весны.

Но вот "скаженные" ветры стихают. Грязь перестает упорно охотиться за моим ботом, в поле застрекочут трактора и высыплет фиалки. А следом за ними, к середине апреля (к пятнадцатому) - первые стрелы ирисов...

И вот оно, наконец. Двадцать четвертое июня - Ивана Купалы, - День Маминой и Папиной Свадьбы!

Шикая друг на друга, на цыпочках (чтобы не разбудить притворяющуюся спящей маму) мы с папой прокрадываемся на террасу, хватаем эмалированное ведро и мимо вовкиного дома бежим к Шаманскому Садику. Солнце еще ласковое - не жжет. Пыль прохладная. Издали нам слышен гомон ошалевших от привалившего им счастья воробьев.

Дед Шаманский, маленький, церемонный, в пенсне, как у писателя Чехова, и узеньком лоснящемся своем пиджачке, - царственно здоровается с нами у входа и ведет в сад "братъ черешню". Папа с практикантками Верой и Клавой берут черешню, а мне Дед вручает ножницы, и мы идем к розам.

Издали побрякивает наше ведро, по-садовому приглушенно звучат голоса папы и практиканток (папа шутит, а практикантки благодарно хихикают), а у нас с Дедом научные неторопливые разговоры:

- А шиповник, он розам - кто?

- М-м... Двоюродный брат, пожалуй. Или племянник. Точно еще наукой не установлено.

- Но почему они такие... невозможно красивые?!

- А мы с Клавочкой, - очень серьезно объясняет мне Дед, - каждый вечер их завиваем.

- Как... завиваете? - Балдею я на минуту.

- Щипчиками, - невозмутимо отвечает мне Дед. - Вот этот бутон мы срежем. Как, по-твоему?

Тяжелые прохладные розы ложатся мне в руки; я осторожно, чтобы не потревожить их и чтобы не заметил Дед, касаюсь их носом, щекой... И внезапно - коротко, как укол, входит в меня сознание неповторимости этого утра и звуков притихшего сада и роз. Это появляется и исчезает. Я ведь еще не знаю, что пройдет меньше года, и сад этот исчезнет, как приснившийся мне, а самая мысль о маленьком старике, с гудящими над его головой пчелами, будет вызывать в наших вывернутых наизнанку мозгах тоскливую сумятицу и недоумение.

...Черное звездное небо над краем нашей террасы, и глупые бабочки, крутящиеся над маминими волосами, и недопитая бутылка кагора, и черешни в глиняной миске, и девять роз в литровой стеклянной банке посередине стола - качаются передо мной, освещенные лампой-молния. Я сижу в гамаке, чуть в стороне от праздничного стола.

И я люблю всех. Я люблю вовиноного отца - доктора Ведерникова, сердито глядящего на единственную нашу бутылку кагора. И седую вовину маму - внучку декабриста. И вовину сестру Валерию - нашу старшую вожатую. И валериного жениха, рыжего, как морковка, папиного студента Васю, сидящего на перилах террасы. И нашего соседа агронома Дьяченко, который орет, как ненормальный, в самое ухо американского спеца Скейларда и хлопает его по колену и сам хохочет. А Скейлард заслоняется дымом от своей трубки и терпеливо делает вид, что ему смешно.

- Ой, - говорит вовина мама. - А Витюша спит.

Но я не сплю. Я лежу в гамаке и не могу и не хочу шевельнуть ни рукой, ни головой... И сквозь надвигающийся сон слышу, как падают на пол мои сандалии, мама вытирает мне влажным полотенцем ноги, Вася берет меня на руки и несет в дом. И я сплю.

6

СБОР

У нас в классе идет сбор на тему "Об интернационализме". Сначала мы разучиваем и играем в лицах книжку "Не забудь о братьях", и я играю третьего братца ("Третий братец складной-светлошоколадный"). По-настоящему играть его должна Саша Грищенко, потому что она и в самом деле шоколадная, почти как Маугли, но у Саши болит зуб, и я играю вместо нее. Это мы готовим спектакль в пользу испанских детей. Наша вожатая - Ирочка Марголина - очень терпеливая, и если что-нибудь не получается, она с нами повторяет сто раз.

Ирочка очень красивая. Волосы у нее темные, волнистые, а глаза синие с длинными ресницами. И одевается она красиво: на ней всегда синее вельветовое платье с белым воротником и красный галстук. И туфли тоже синие.

Ирочка нас любит, наверное, не меньше, чем своих кроликов. И без конца возится с нами и помогает, если кто заболел или отстал. У нее брат учится не в нашем классе, а в "А". Но все равно она всегда переживает за нас, когда у нас проверяют соревнование. И говорит, что наша Саша и мы с Вовкой (если бы мы захотели, конечно) могли бы учиться ничуть не хуже ее Женьки. Хоть он и круглый отличник и на скрипке играет. Но все равно он - "гогочка", а мы разносторонние и участвуем в общественной жизни.

Чего-чего Ира нам не читала! И "РВС", и "Военную тайну", и книжку "Пионеры-герои"... А сейчас мы даже готовим спектакли, и Ира учит нас по системе Станиславского.

У меня получается очень хорошо, и тогда решают, что Саша будет играть маму третьего братика, а я - братика. Хотя мне только и делов, что лежать и спать. Но Ира говорит, что надо, чтобы было видно, что братик не спит, а "думает о братьях". А в конце мы все четыре брата - Вовка (белый братик - русский) и все мы остальные (выкрашенные - желтый, коричневый и черный) будем стоять, взявшись за руки, и говорить про испанских детей. Это уже Ира придумала сама - не стихи, а просто так. Война в Испании еще недавно только началась, стихов про это мы не нашли, но все равно Ира придумала очень хорошие слова, так что получилось прекрасно.

И вот тут, вдруг, наш второгодник Смирнов встал, собрал портфель и пошел к двери. Ира спросила строго:

- Смирнов, тебе не интересно?

- А чего тут интересного? - ухмыльнулся Смирнов.

Смирнов у нас самый большой в классе. Он, наверное, каждый год по два года сидит. И он, по-моему, даже старше Ирочки. И ему у нас все скучно. И вот что удивительно: Смирнов никогда ни с

кем не дерется, даже меня за косы не дергает, хотя у меня такие косы - толстые, короткие, в разные стороны - как у "умной Маши", в журнале "Чиж". И меня все дергают. Даже Ирочка один раз чуть не дернула, а потом сделала вид, будто хотела поправить бант. И только покраснела очень. А Смирнов никогда не дергал. И все равно мы его все боимся ужасно и даже стороной обходим. Мне кажется, что от Смирнова даже пахнет злодеем. Конечно, я не знаю, как должны пахнуть злодеи. Но, наверное, так, как он. Наверное, и Симон Легри так пахнет, и Яго...

Смирнов посмотрел на Ирочку белесыми глазами, ухмыльнулся и сказал сонным голосом:

- Мне интересно, если ты про что другое считаешь...

- Про что? - не поняла Ира.

- Ну, про что другое. И не в классе, а...

- А где?

- Ну, где тебе нравится. В роце можно. Или в Шаманский Садик, если к вечеру.

И опять ухмыльнулся. И поглядел на Иру.

Мы все молчали. Мы никак не могли понять, что Смирнов сказал такого плохого, но почему-то всем было ясно, что сказал он мерзость.

Ирочка начала ужасно краснеть, а потом сказала негромко:

- Хулиган...

Вовка Ведерников вскочил и заорал:

- Пошел вон! Дурак!

Смирнов смазал маленького Вовку ладонью по лицу, засмеялся и ушел, хлопнув дверью. А Ира села за стол и заплакала. Мы все вскочили со своих мест и стали ее утешать.

- Что ты на него обращаешь внимание? Он - фашист, - сказала Саша. Ира вытерла глаза и сказала:

- Никакой он не фашист, а просто дурак. Он советский школьник и пионер. И не надо про него так говорить.

И стала читать нам дальше.

Смирнов у нас и вправду пионер. Мы все октябрята, а он пионер, потому что в третьем классе он учится уже второй год. Но все равно я поняла, что Саша права: что он самый настоящий фашист. И если бы жил в Испании, то тоже расстреливал бы детей и сбрасывал бы бомбы. И даже с большим удовольствием.

Я сидела и думала: это даже удивительно, до чего мне повезло!.. Ведь сколько на свете стран, и везде или фашисты или капиталисты, и негров вешают и угнетают. А я родилась тут, и никакой Смирнов никому ничего не делает. Ну разве что по лицу смажет, так это даже и не больно...

7

дом с башенкой

В вовином доме в полу такие щели, что в них очень даже удобно выливать все козье молоко, которым нас поит вовина мама.

Дом у них очень странный. Каждая комната в доме - то выше, то ниже другой, и везде ступеньки и лестницы, и никак невозмож-

но понять, сколько в этом доме комнат. И в комнатах ничего нет. В одной комнате стоит деревянный топчан, в другой - раскладушка, а в третьей просто лежит на полу кошма, и на ней кто-нибудь спит. Или стоит стол с табуреткой. И на стенах ничего не висит.

Но зато иногда, вдруг, идешь и на какой-нибудь лесенке споткнешься обо что-нибудь такое замечательное, какого у нас сроду никогда не будет, - на медную пушечку, например, которая стреляет по-настоящему. Только нам с Вовой это не разрешают. Но один раз она стрельнула - я сама слышала. Это когда приезжал вовин брат Дмитрий. Или самоварчик. Он для кукол, но его можно топить и кипятить чай - целых поллитра. И мы с Вовой его топили таблетками карболена. А потом вовина мама разглядела, как он мне нравится, и взяла и подарила мне. И даже без всякого день-рождения. Я вот бы его никому бы ни в жизнь не подарила!..

У них в доме никаких почти книг нет. Ну чуть-чуть у Наталии Дмитриевны на полке. И вовкины учебники. И вдруг, на тебе! - на чердаке, там, где башенка - целая куча книг. И "Вокруг света" с "Человеком-Амфибия" и с "Головой профессора Доуэля", и даже "Хижина дяди Тома", про которую мне мои родители говорили, что ее больше в вообще в природе не существует. И мы сидели на этом чердаке целый месяц и, не вылезая, читали, хотя вовин папа и говорил, чтобы мы не мусорили себе мозги всякой сентиментальщиной, а что "Человек-Амфибия" - это вообще Бред Сивой Кобылы.

Но Вова мне сказал, чтобы я не обращала на его папу внимания. Это он так - для воспитательности.

Вова у них самый младший в семье. Сестер и братьев у него целая куча. Они все уже взрослые, и я даже не пойму, где они живут - в Верблюде или еще где. Иногда какой-нибудь дядечка или тетенька, я думаю, что просто так, а они, оказывается, вовкины брат и сестра. В клубе киномеханик оказался вовин брат Саша. А библиотекарьша - сестра Мариша. И то они уезжают, то приезжают. Сдадут экзамены и приедут.

Окончила Ростовский пединститут и приехала в Верблюд старшая вовина сестра Валерия. И теперь она работает у нас в школе Старшей вожатой. Папин студент Вася Силантьев влюбился в нее, и они ходят по всему Верблюду за ручку, а мы с Вовкой их дразним: "Жених и невеста! Тили-тили тесто!.." Валерия обижается и говорит, что мы подрываем ее авторитет. И что она пожалуется маме.

Но вовины папа и мама целый день в больнице, и дома у них делай что хочешь. И мы с Вовой играем во все, что читали в книжках - в Жюль Верне и в "Хижине дяди Тома", и в "Вокруг Света". А потом, когда началась Испанская Война, мы в ихней башенке устроили Наблюдательный Пункт Республиканской Армии, и я была разведчик (меня звали Хуанита), а Вовка был командир республиканцев - дон Риего. У нас был целый отряд, и мы кидали гранаты и бомбы в танковые колонны Армии генерала Франко. Танковые колонны - это были коровы, которые шли мимо вовкиного дома (один раз мне здорово от них досталось, так, что я лежала потом целую неделю, и вовин отец накладывал мне швы). Но зато бомбы и гранаты у нас были замечательные. Гранаты были - пустые кукурузные початки, а бомбы - тыквы. Они у Ведерниковых лежали на чердаке чуть ли не целый год и высохли, и взрывались, как настоящие.

Ирландская застольная

На тарелке, окруженная розами из лука и свеклы, лежит котлета. На котлете сверху прилажен перец. Перец полыхает огнем - внутри перца воткнута свечка. Называется это - "Комиссарское жаркое". "Комиссарское жаркое" - фирменное блюдо Василия Карповича, верблюжского шеф-повара.

Василий Карпович стоит возле нашего столика с блюдом в руках и произносит речь:

- Дорогой наш товарищ Скейлард! Лев Робертович! Я хочу, то есть все мы хотим (сзади Василия Карповича стоят официанты Валя и Зина), чтобы вы сейчас поглядели на это жаркое и чтобы вы почаще вспоминали в своей Америке про наш ресторан, который вы строили, и как мы вас тут кормили и вообще всё...

Василий Карпович не договаривает, машет рукой и ставит блюдо на стол. Скейлард сгребает шеф-повара в охапку, и они целуются. Затем Скейлард целует Валю и Зину. Василий Карпович говорит:

- Зина, принеси товарищам нормальные антрекоты.

И уходит к себе.

А мы едим нормальные антрекоты и винегрет и любимся на "Комиссарское Жаркое", и пьем. Взрослые пьют коньяк, а я - сидро. И нам хорошо.

Но тут мимо нашего столика по ковровой дорожке проходит какой-то, мне еще не знакомый дядечка во френче и брюках. В руках у него судок и бидончик.

На обратном пути с раздачи, пройдя мимо нашего столика, дядечка вежливо улыбается и чуть кланяется в нашу сторону.

Все молчат и ждут, когда он пройдет.

- Ну вот... - невесело усмехается Директор. - Пошел Хмырь. Повеселились...

- Что-нибудь нье так? - спрашивает Скейлард.

- Все так, - отвечает Директор.

Скейлард оглядывает наши лица.

- Мнье, наверное, нье следовало, - говорит он негромко, - устраивать это... Но я так хотьел...

- К черту, Лева. Не морочь себе голову. Не то, так это. Ладно. Ну, за дружбу народов.

Все чокнулись и выпили. Директор встал.

- Ну, я пошел. Дела... Счастливо... Лева, не забывай.

И ушел.

"...Как он может уйти так? - думаю я. - Ведь Лева уезжает, навсегда..."

У меня даже дух захватывает, когда я представляю себе реально, что означает это слово. Как это может навсегда уехать Лева, который еще неделю назад орал на мою маму за то, что она не позволяла им с папой в два часа ночи начинать новую партию в шахматы. "Женщины ньиогда ничьево не понимают в шахматы!" - кри-

чал Лева. Мама хохотала, а папа шикал на них и говорил, что они разбудят Витьку.

- Уже разбудили! - кричала я из соседней комнаты.

И все смеялись.

- Вы кричите на меня, Лева, словно я уже ваша тетка, - смеялась мама.

- На тьеток я не кричу, - отвечал Лева. - Я их боюсь.

Лева ужасно длинный. Нина-Большой - и тот, наверное, ему по плечо. Один раз Лева повел нас в кино, и на журнале на него сзади начали шипеть (наверно, там сидел кто-нибудь не верблюдский): "Гражданин, сядьте! Гражданин, сядьте..." На него цыкнули: "Тихо ты! Это Скейлард..." Но тот не понял и продолжал шипеть. Тогда Лева встал и сказал: "Во так я стою. А вот так я сижу..." И гражданин замолчал, пристыженный.

Это был ужасный фильм! Лео уверял меня, что мне будет "невероятно смешно". И действительно, кругом все смеялись. А на меня с самого того момента, как машина начала кормить Чарли, напал страх, и я продрожала весь фильм. А когда Чарли стал кататься на роликах, я вообще подумала, что все кругом посходили с ума, если не видят, что все это страшно, и продолжают смеяться. И самое жуткое было то, что и мои папа и мама, и Скейлард смеялись тоже. Я начала реветь уже не на шутку, и мама, увидев, что со мной делается, шепнула мне: "Может быть, уйдем?"

Я замотала головой. Как я могла уйти, так и не зная, что будет с Чарли и с большой девочкой и ее младшими братьями?!

Скейлард в темноте обнял меня своей огромной ручищей и тихо шепнул:

- Я смеюсь, Викки, потому что Чарли не погибнет никогда. Мы умрем, а он будет жить. Серьезно...

И тогда я вытерла слезы и улыбнулась тоже, даже стала иногда подхохотывать...

- Я никогда нигде так не скучьял, как я буду скучьять по здесь, - печально говорит Лева, глядя на дяди васин перец. - И по этой жаркое. И по картины...

На стенах ресторана висят два огромные полотна: "Крепостная актриса в опале, кормящая грудью щенят" и "Расстрел двадцати шести бакинских комиссаров". Картины эти копировал верблюдский художник Миша Куценко. Он приходил к нам в гости и говорил с мамой "за искусство". И мама терпела его, потому что он был горбатый.

- Это великие картины, - говорил Лева. - От них большой аппетит.

- У нас останутся ваши дома, Лео, - говорит мама. - И мы будем вас вспоминать.

- Особенно в октябре, когда полетит крыша с десятого дома...

Мы смеемся. Десятый дом строил помощник Лео, который уехал позавчера. Лео говорит, что Вильямс, пока жил у нас, все время страдал: все, что у нас продавалось, ему было "не к чьему", а все, что ему было "к чьему" - у нас не продавалось.

- Но институт получился замечательный, - говорит мама. - Когда мой Лева (мама имеет в виду папу) о нем рассказывал по дороге сюда, я боялась, что будет нечто ужасное. Конструктивизм я терпеть не могла.

- Вы, Мэгги, говорите чьюшь! - немедленно обижается Скейлард. - Откуда вы знаете конструктивизм! По дурной фотографии. Конструктивизм - это объем, взлет!

- Меня пугала затея делать в виде трактора... - робко извиняется мама.

- И ничуть и не похоже на трактор! - горячо возражаю я. - Он на пароход похож!

- Да, - сказала мама. - Пожалуй.

- Черт! Мне так сейчас хорошо... - сердито сказал Лео. - Есть такой один хороший филм... Он длинный, но это неважно. Кончается он так: молодые люди любят друг друга, они бедные. Потом им попадает миллион. Они женятся и едут в Америка. Он - художник, она - музыкант. Они будут учиться... Родные их провожат. Они машут рукой. Все очень хорошо. Пароход отходит от берег. И видна надпись: "Титаник"...

- Ну и что? - спросила я.

- Мне не везет, - продолжал Скейлард. - Сначала я строил в Испании. Тьерпер тут...

- Но здесь же не бомбят, - говорю я.

- Ладно, - говорит папа. - Ничего не поделаешь. Выпьем еще, тезка.

9

НОВЫЕ ТЕТРАДКИ

Перед самым Новым Годом Вера Антоновна вошла в класс и сказала:

- Дети, я принесла сегодня новые тетради. По арифметике и письму. Мы в них будем писать со второго полугодия. А сейчас я вам их раздаю. Кто у нас сегодня дежурный? Аврора? Раздай тетради, Аврора.

Аврора стала раздавать тетради, и по классу пошел стон. Таких красивых тетрадей мы не видели никогда в жизни!

Чего-чего только в них не было! На тетрадках по арифметике был нарисован Вещий Олег с дружиной, и конь, и кудесник. А на тетрадках по письму - кот, и дуб, и Пушкин, и неведомые звери вокруг. А сзади, там, где всегда бывает таблица умножения и правила поведения учащихся, были вместо этого стихи про Олега и Лукоморье... Даже прикоснуться было страшно к этим тетрадкам, а не то что писать! Мы сидели и смотрели на них и гладили их рукой, и поверить себе не могли, что нам вдруг привалило такое счастье.

- Вы знаете, дети, - сказала нам Вера Антоновна, - что в феврале будущего года мы будем отмечать столетие с того дня, как был убит великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

- А кто его убил? - спросил Миша Ключай. - Враги народа?

- Дурак, - сказала Саша Грищенко, - тогда не было еще врагов народа.

- Нет, дети, - очень серьезно сказала Вера Антоновна, - враги народа тогда как раз были. Врагами народа было царское правительство и помещичий класс. И это они направили руку убийцы.

...Ну, не знаю, какие такие были Враги народа сто лет назад, но только сейчас я бы их прямо убила! Это надо придумать такое безобразие!..

После Нового Года я простудилась и проболела почти все каникулы и еще неделю потом. И я сидела дома и мечтала, как я приду в класс и начну писать в новых тетрадках. Все ребята уже писали, а у меня они лежат нетронутые, завернутые в калечку, и еще мы с Сашей сделали в них закладки с переводными картинками. И я их доставала и любовалась на них...

И вот я пришла в школу и вдруг вижу такое, что я решила, будто я, наверное, сошла с ума. Или что это Вера Антоновна сошла с ума, потому что она сидела у себя за столом и - тетрадка за тетрадкой - срывала с них обложки. А рядом с ней сидел наш актив и тоже помогал ей рвать обложки с тетрадей. Рядом с ними на полу валялась уже целая груда, а Зина Витовтова и Аврора собирали их и совали в мусорную корзину.

Вера Антоновна молча рвала их. Она сидела, опустив голову, и была такая красивая, как Комиссарское Жаркое... И я окончательно решила, что она заболела. Но тут наш актив заметил меня, наконец, и Галя Лихацкая закричала:

- А ты свои уже сорвала?! Рви скорей!

- Вы что, сбесились?.. - спросила я, потрясенная.

- Давай скорей свои тетрадки! - закричала Галя.

- Не дам...

Галя сощурилась и спросила меня:

- Ты, что ли, за троцкостов, да?

- При чем здесь троцкисты? - спросила я обалдело.

Вера Антоновна сказала спокойно:

- Вика, дай свой тетради.

И тогда я заплакала. Саша Грищенко сказала:

- Она же болела. Она же ничего не знает.

И весь класс принялся мне объяснять, что, оказывается, наши прекрасные обложки сделали Враги народа с Троцкистами. И они так хитро их нарисовали, что кажется сначала, будто это простая обложка, а на самом деле там написано, знаешь что?! - "Да здравствует Троцкий!" И, главное, они так здорово это запрятали, что сто лет смотреть - и все равно не догадаешься, что там такое написано... И только одна девочка в одном городе догадалась и всем показала. Теперь эти обложки по всему Советскому Союзу рвут, и мы тоже рвем, а девочке той в Кремле дадут орден!

И они принялись показывать мне, как хитро спрятана эта самая надпись, и я сказала, что - да, вижу... Хотя на самом деле, если говорить честно, то я ни черта не видела!.. Я только поняла, что стремя Вещего Олега на самом деле было не просто стремя, а буква "Д" (наверное, от слова "да здравствует").

И я подумала после этого, что вот до сих пор я так и не могла понять, чем эти самые Троцкисты и Враги народа занимаются и почему с ними нужно бороться, но теперь, конечно, я и сама вижу, какие они жуткие сволочи. Я ж говорю - я б их прямо убила...

МАМИНА ПОДРУГА НЮТА

Из Ростова позвонили, что к нам в Верблюд выехала испанская делегация из города Барселона.

Директор вызвал моего папу и велел, чтобы на всякий случай он приготовился, если надо будет перевести. Папа поморщился и сказал, что испанский он знает поскольку-постольку. Но директор ответил, что "постольку-поскольку" это тоже дай бог.

А нашему классу велели, чтоб мы готовили свой спектакль "Не забудь о братьях" - показывать его испанцам.

Но оказалось, что переводчик у испанцев есть свой. Поэтому мама и папа просто пошли в зрительный зал и сели на самый верх, откуда у нас в институтском актовом зале все очень хорошо видно. Я села с ними, потому что мы должны были выступать только после торжественной части.

Сцена у нас в институте маленькая, но очень красивая - выкрашенная масляной краской под мрамор. А сейчас там еще повесили флаги - наш и испанский - и поставили стол с красной скатертью и стулья. И на сцену выкатилось сразу столько начальства, что непонятно стало, куда же сядут испанцы.

Потом встал Директор - торжественный, в синем костюме с галстуком, бритый - и предложил всем похлопать и поприветствовать испанских товарищей. И мы похлопали и поприветствовали. И на сцену вышли испанцы. И их разместили все-таки (только Хмырю-с-бидончиком пришлось сесть сбоку).

Я стала рассматривать испанцев и решила, что это какое-то надувательство, что испанцы не всамделишные. Потому что одеты они совершенно не по-испански, а в украинские рубашки со шнурочками.

Но тут под барабанную дробь вышли все наши вообразили из третьего "А" - и Женька Марголин (брат Ирочки), и Инна Дьяченко - и преподнесли испанцам цветы, и Инна прокричала речь: "Мы - советская молодежь!" и т.д. - и надели на испанцев красные галстуки. И тогда я поняла, что испанцы эти совершенно настоящие, просто рубашки на них тоже где-то уже надели, еще, наверное, до нас.

А потом испанцы стали тоже говорить речи, а ихняя переводчица стала переводить. И тут моя мама ахнула и схватила меня за руку.

- Боже мой! - сказала мама. - Это же Нюта!

Нюта - была мамина подруга еще со Станюнинской Гимназии ("Станюнинская Гимназия" - это так называлась школа, в которой училась моя мама). И мама всегда говорила: "Вот когда мы с Нютой..." И всегда получалось, что они с Нютой были порядочные хулиганки.

Но в это время захлопали, и наша Ирочка стала делать мне знаки, чтобы я спускалась вниз - пора было идти мазаться в ко-

ричневую краску, потому что уже начинался перерыв. Мама спустилась со мной тоже. Когда мы подошли к самой сцене, то даже и я узнала Нюту, хотя она была уже совсем седая, а у мамы на фотографии они обе были еще почти девочки; они сидели на корточках и кормили из рук голубей, а сзади них был столб, а на столбе - лев с крыльями, и обе они были веселые и нарядные - в белых платьях и с косами...

И тут Ира взяла меня за руку и увела. Я только увидела, как Нюта смотрит на мою маму и медленно покрывается красными пятнами. А мама смеется, и глаза ее так и светятся.

Потом мы играли и говорили, что нам положено, а испанцы хлопали и благодарили нас и смеялись, хотя я так думаю, что они не поняли ровно ничего, потому что Нюта ничего им почти не переводила. Она сидела прямая и строгая и вежливо улыбалась и молчала.

Как только спектакль кончился, я убежала к папе и маме, но оказалось, что мама уже ушла. Я решила, что она пошла в Поселковый купить вкусного к ужину. Но когда мы с папой вернулись домой, мама сидела на диване, обложенная тетрадками, и переводила своих "Ученых женщин". А когда я спросила ее, позвала ли она Нюту, мама сказала, что это оказалась не Нюта, а совсем другая женщина, совершенно, очевидно, незнакомая.

- Она только издали похожа на Нюту. Скорее всего, я обозналась. И дай мне немножко позаниматься...

- Но как же так... - начала я.

Но по маминому лицу я поняла, что лучше к ней в сию минуту не приставать.

11

очень страшное...

- Чуть какая-то... - говорит мой папа. - Землянику-то они зачем скосили? Дьяченко же все-таки агроном.

- Агроном... - повторяет вовкин отец. - В первую очередь он чекист. А вдруг она отравленная?

(И непонятно - серьезно он или смеется...)

- Да вообще, что теперь толковать - и канаву уже вырыли, и проволокой огородили... Колючей.

- Бред какой-то, - говорит моя мама.

И они умолкают. Только ложечка звенит о стакан.

- Наталья моя считает, - снова говорит вовкин отец (и голос у него усталый-усталый)... - Наталья считает, раз мы соседи, знаем старика дольше других, стало быть, обязаны вмешаться. Что наверняка это ошибка, и надо, чтоб разобрались... Валерия, кстати, тоже твердит, что там разберутся. "Но вы, говорит, с матерью слишком доверчивы. Он явно не наш человек, и вся его деятельность вполне могла лить воду на мельницу врага... Хотя все эти цветочки и весьма трогательны..." Ну, а вмешаться... Что проку? Я -

хирург. Кому-то надо работать. Ведь эта дурица всех тут зарежет без меня, она флегмону вскрывает - сепсис делает... А потом, что я скажу? "Отпустите его, он хороший человек, я его знаю..." Так? А что я знаю? Ну, а если Валька наша в какой-то мере права? Все говорят - он скрытый баптист. А вы уверены, что это не так? Но только, если этот человек враг?..

(Вовкин отец теперь уже почти кричит.)

- Михаил Игнатьевич, я вас очень прошу, - говорит мама. - Тише. Я не уверена, что Витя не спит.

Мама входит в мою комнату. Но я уже успела взлететь в постель и зажмуриться. Мама некоторое время стоит надо мной. Поправляет мне одеяло. Потом выходит.

...Что такое "Скрытый баптист"?.. Может, это еще хуже Троцкиста? Или даже Шпиона?..

Резная тень акации кланяется мне с потолка. Мне слышно, как она скребется в стекло за окном.

...Я знаю, что надо встать и впустить ее и куда-то спрятать, иначе Дьяченко ее обмотает проволокой, и она задохнется.

Но тут я вижу, как с черной ветки на потолке, медленно набухая, повисает густая мутная капля - прямо над моими глазами. Капля все увеличивается, я знаю, что еще немного, и она сорвется, и ничего уже нельзя будет исправить... Я пытаюсь крикнуть и позвать маму, но губы меня не слушаются; они как запертые, и я понимаю, что я уже отравленная, и все-таки кричу, но у меня получается шепот: "Ма-ма..."

И мама входит. Она наклоняется надо мной и начинает подтыкать одеяло, и я пытаюсь сказать ей про ветку на потолке, что это не акация, а Анчар... Но знаю, что надо сделать незаметно, чтобы не услышал Шаманский... Но вместо этого я почему-то спрашиваю: "Мама, что такое Скрытый..."

Но я не договариваю, потому что мамино лицо вдруг искажается - у нее оскаливаются зубы и вырастает клык... И страшная звериная пасть с ухмылкой глядит на меня.

12

ЗИНА ВИТОВТОВА

Папа пришел с работы и рассказал смешную историю: в НИМИС привезли оборудование. Оборудование было тяжелое. Грузчики попевывали на ладони и покрикивали:

"Так его - сюда! Ставь на попа!"

И тут грузчик по фамилии Витовтов испугался и закричал:

"Да вы что, с ума сошли? Я ж упаду!.."

Потому что оказалось, что раньше когда-то он и вправду был поп и понял так, будто оборудование хотят поставить ему на спину.

Этот грузчик Витовтов был отец девочки из нашего класса - Зины Витовтовой. Поэтому на следующий день я пришла в школу и сразу всем рассказала эту историю. Всем стало смешно. С Зинкой и

без того вечно был цирк: она шепелявила, а один раз в диктанте вместо "Ворона каркнула" написала - "Ворона какнула".

После уроков мы окружили Зину и стали кричать ей: "Попова дочка! Господи Иисусе, ворона какнула!.." и т.д.

Зина попыталась от нас убежать, но возле Институтского Са- дика ее поймали, загнали в куст шиповника и продолжали скакать и визжать вокруг. А Зина стояла посередине куста, пыталась вы- рваться и просила нас перестать, но мы не переставали и орали еще шибче.

И вдруг зинино платье зацепилось за колючки, сделало "кр-рак!" и сверху донизу разорвалось. И стали видны зинины фланелевые штаны и худые ноги в порванных на колене чулках с круглыми ре- зинками.

И вот только тогда ко мне наконец пришло отрезвление. И я увидела со стороны и этот куст, усыпанный розовым цветущим ши- повником, с плачущей полуголой девочкой посередине, и нас - как бесноватых, скачущих и орущих вокруг... И я поняла, что мы ни- чуть не лучше Смирнова, который даже и не скакал с нами, а толь- ко стоял неподалеку и посмеивался...

И я завизжала безо всякого перехода, как будто меня режут: - Перестаньте! Престаньте! Дураки! Зина, прыгай сюда!

И протянула к ней руки.

Странно, что Зина не раздумывала ни секунды. И тотчас же прыгнула мне навстречу. И мы стояли с ней рядом и ревели напра- палу.

- Две поповы дочки! - крикнула нам Галя Лихацкая.

Галя больше всего любила, когда вокруг нее ссорятся. Но сей- час у нее ничего не вышло. Все стояли и молчали.

- Девочки... - сказала Саша Грищенко. - А ведь у Зинки это платье последнее...

Я никогда потом так и не могла рассказать эту историю маме. А Зина после этого случая бегала за нами с Сашей, как собачон- ка, и притаскивала нам букеты, и мы не знали, куда нам от нее убежать.

Нет, эта Зинка и вправду была какая-то чокнутая, наверное, потому что она притаскивала нам букеты шиповника. Она вовсе не хотела нам напомнить ничего плохого, просто она была нам бла- годарна за то, что мы с Сашей зашили ей платье.

13

беседа о бдительности

Папе дали в институте на меня путевку в пионерский лагерь "Тачанка" в городе Туапсе.

Мама не хотела меня пускать, но когда я узнала, что у нас там будет форма с красной испанской шапочкой, я взвыла. И при- ставала к маме целую неделю, и мама наконец согласилась.

И я поехала. Но в первый же вечер я так дико заскучала по дому, что наутро, еще до пробудки, я стала писать домой про то,

как здесь ужасно, и мало умывальников, и что мы моемся в ручье, и пьем (навверняка) некипяченую воду. Я хотела испугать маму пошбиче, чтобы она приехала и забрала меня отсюда.

Но пока я писала, началась линейка: я бросила недописанное письмо, а потом мы стали готовиться к открытию лагеря, и это оказалось так интересно, что про письмо я забыла.

На открытии мы разводили костер на склоне холма и пели песни, и я читала стихи "Про ученицу пятой школы по фамилии Шишкова". Стихи были очень веселые, и после открытия за мной все хвостом ходили и просили, чтоб я им их списала.

И вспомнила я о своем письме только через неделю, когда у нас была беседа о бдительности с капитаном пограничного катера и он стал нам рассказывать, как любое наше неосторожное лишнее слово или записку враг может использовать в своих шпионских целях. Особенно, если там есть что-либо порочащее нашу Родину или какие-нибудь цифры. И вот тут я вспомнила о письме и про то, что я там написала об умывальниках. И даже ведь цифры там были! Потому что я написала, что умывальников у нас четыре на шесть отрядов!

Сразу же после беседы я побежала в палату и стала перетряхивать свои тетрадки и книжки; я перерыла всю тумбочку и матрас, но письма не нашла. Дежурная по палате Оля Величко спросила меня, что я потеряла, и я решила, что она нашла мое письмо и отдала его вожатой и теперь весь лагерь узнает про то, что я, оказывается, "находка для врага".

Ночью я лежала и соображала, что может быть мое письмо нашли не на моей тумбочке, а на полу и мне потому пока не говорят, что не знают, кто его написал. И я решила, что больше не буду писать ничего, и тогда они не узнают моего почерка. Но тут я вспомнила, как сама раз десять переписывала для всех эту несчастную "Ученицу пятой школы по фамилии Шишкова", так что теперь уже все пропало, и ничего не поделаешь... А кроме того, они же могут вызвать собаку из пограничной заставы и дать ей понюхать мое письмо, и тогда собака сразу приведет ко мне...

На следующий день наш отряд был дежурный, и вечером меня вызвали на линейку опускать флаг, потому что по задумчивости я больше всех начистила на кухне морковки. Но я решила, что это из-за письма, и ноги у меня, когда я шла к трибуне, были как макароны, и в животе бурчало так, что я думала, что всем будет слышно.

По-моему, у нас в отряде были очень хорошие девочки. Но после того как я стала думать про это проклятое письмо, я уже ни с кем не хотела водиться, потому что все время представляла себе, как они всё про меня узнают и будут клеймить меня позором и говорить, что я лила мельницу на врага.

И хуже всего было то, что, хотя верблюжан в лагере было всего трое, но один из них был брат нашей вожатой - Женька Марголин из третьего "А". На открытии он играл на скрипке, и все говорили, что вот, в этом верблюде какие, оказывается, ребята спсобные - и стихи читают, и на скрипке... И теперь я с ужасом думала о том, что же теперь будут говорить, когда узнают, и что скажет Ира. И я старалась к Марголину даже близко не подходить.

Так шло время, но ничего страшного не происходило, и я стала думать, что так сойдет. Но тут мне вдруг пришло в голову, что это значит только одно: что мое письмо подобрал шпион и использовал в своих шпионских целях. Мало того - ведь в любую минуту этот шпион мог предъявить мне его и сказать, что я теперь завербованная и должна работать на фашистов. И я поняла, что мой долг пойти к старшему вожатому Косте или, еще лучше, к пограничникам и все им по-честному рассказать. Но тут вдруг я подумала, что они подумают, что ведь это письмо я писала папе и маме, и хотя они тут совсем не при чем, но ведь мама мне рассказала, что в виде исключения в отдельных случаях может все-таки произойти ошибка. И когда я себе представила, что эта самая Ошибка-в-виде-Исключения возьмет и произойдет с моими мамой и папой, меня чуть не стошнило от страха...

И я поступила как подлый трус и решила лучше молчать, а если ко мне придет шпион, то я его заманю к морю и сброшу со скалы. Но только в глубине души я понимала, что со шпионом я вряд ли справлюсь, потому что у него и пистолет, и яд, и нож, и перчатки, и мое письмо впридачу. И от всех этих рассуждений мне было очень плохо.

Мне было плохо даже тогда, когда весь наш лагерь поехал на экскурсию в Сочи и все было совершенно замечательно. Мы бродили среди всамделишных пальм и каких-то еще удивительных деревьев с большими гладкими листьями, из которых наши мальчишки понаделали себе шляп, и с белыми цветами - с тарелку каждый. Целый день мы ходили по Сочи и грызли кедровые орешки, и когда мы с большим мальчиком Юрой из первого отряда остановились у киоска попить газировки, а потом заблудились, то мы нашли дорогу, как мальчик-с-пальчик - по скорлупе.

Вечером мы возвращались на пароходике и пели песни, и зоревенное солнце с отъеденным боком катилось в море, на черно-зеленых холмах один за другим зажигались окна в домах-отдыхах, и наперегонки с нашим пароходом по берегу - так близко к воде, что в ней отражались его огоньки - бежал поезд, и белый дым бежал следом за паровозом, а из окошек махали нам, и мы им тоже, и большой Юра дал мне свою куртку, чтобы я не замерзла.

Но всю дорогу я думала только про то, что все кругом потому такие добрые и веселые, что им еще не сказали про меня правду, я понимала, что теперь уже ничего не изменишь и все равно - не теперь, так потом - они все узнают и всё хорошее кончится...

14

В директорской "эмке" (митиюки) *

После пионерского лагеря я перестала спать. Вовкин отец дал нам записку к знакомому невропатологу, и папа повез меня в Ростов.

* Термин японской драмы. Означает проход, бегство, путешествие героев навстречу неминуемой гибели - Прим. автора.

Поезд у нас ходит в Ростов один раз в день, рано утром. Мы с папой немного закопались и, чтобы поспеть, дернули к станции что есть духу, потому что издали слышно было, как поезд гудит уже возле семафора, а стоит он у нас на станции всего несколько минут.

И мы бы поспели, но тут мимо нас по дороге проехала директорская эмка, на повороте она затормозила, директор высунулся и окликнул папу:

- Гогдон!

Мы остановились.

- Пгивет, Гогдон! - сказал директор. - Ты куда? В годод? Садись с нами, подвезем.

Обычно директор ведет свою эмку сам. Но тут он был не один. Рядом с ним за рулем сидел Теняков - секретарь верблюдской парт-организации. Теняков слегка кивнул папе, но видно было, что ему вовсе неохота подвозить нас в город. Но тут поезд уже подошел к станции и сразу же свистнул, что он уходит. Ясно стало, что нам уже к нему не поспеть. Теняков еще больше нахмурился и открыл заднюю дверку.

- Садитесь, только быстрее.

Мы сели. Теняков захлопнул дверку и сразу же так дернул с места, что я чуть не прикусила себе язык. Наверное, он действительно очень спешил. И пока мы не проехали все верблюдские отделения и все наши поля, он так все время и мчался, как ненормальный.

Но тут мы проехали последнее - двенадцатое - отделение и элеватор, и директор тронул его за руку и сказал:

- Не спеши, Тимофей. Не на свадьбу.

И Теняков стал ехать тише.

А директор повернулся на своем сидении и стал через мою голову смотреть в заднее окошко. Я поглядела туда же, куда и он. В заднее окошко был виден наш Верблюд - желтые поля, и элеватор, и белые домики отделений... А сзади на синем небе уплывал институт.

Так и было видно в окошке три цвета - желтое, белое, синее. А если и было что-нибудь еще, то этого видно не было.

- Чегт... - сказал директор. - Что ни говоги, а здогово мы его отггохали.

Он похлопал себя по карманам, потом полез в нагрудный карман к Тенякову, достал оттуда беломор и закурил. И снова стал глядеть. Потом он заметил, что я гляжу вместе с ним, усмехнулся и подмигнул мне.

- Что, победительница, - сказал он. - Нравится?

- Очень.

- То-то...

И, помолчав, спросил меня:

- Ну, как было в лагере? Хорошо отдохнула?

- Спасибо, - вежливо ответила я. - Хорошо.

Наверное, я сказала как-то не так, потому что директор поглядел на меня внимательно, а потом отвернулся и стал глядеть туда, куда полагается.

А я стала разглядывать в зеркальце Тенякова. Мне было видно, что Теняков недоволен тем, что мы с папой сидим с ними в машине. Он молча правил, и только желваки ходили у него под скулами.

Теняков был похож на Кирова. И одевался он точно так же и, когда говорил речи, то точно так же, как Киров на портретах, вскидывал вперед руку. Только непокорная прядь не падала у него на лоб, потому что пряди не было у него - Теняков был лысый. Или бритый. Или лысый и бритый... Речи он всегда говорил хорошие и короткие, и слушать его было интересно.

Дочку его - Искру - я знала хорошо. Она училась во втором "А". Мы с ней иногда играли, но с ней было неинтересно, потому что ей что ни соврешь, она про все верит. Зато в старшего его сына - Кима - я даже была чуточку влюблена. То есть влюблена в него была вovina сестра Мариша, а я с ней заодно тоже. Ким был курсантом летной школы и к нам приезжал в форме. И он тоже был похож на Кирова. Или, вернее - не на Кирова, а на Сережу Кострикова, и очень нам нравился.

Директор снова обернулся к нам с папой.

- Гогдон, - сказал он. - Хочешь выпить? Там у тебя под ногами. Четыре звездочки.

Теняков чуть поглядел на него, но ничего не сказал.

- Ну-ну... - сказал директор. - Можешь не тагаться. Я вполне... А Гогдону почему, собственно, не выпить? Не поливать же догогу?

Но папа почему-то отказался. Директор не настаивал. Он закурил еще одну папиросу, дал папе и вдруг спросил:

- Гогдон... А как в лагере, жить можно в конечном счете? Не в пионерском, конечно...

- Как видите, я жив, - сказал папа.

И удивленно поглядел на директора.

Я тоже не поняла - про какой это лагерь они говорят, если не пионерский?

- Что ж, - сказал директор. - Это оп-ти-мис-тично...

- Валя... - сказал Теняков.

И замолчал.

- Вы что-то имеете сказать, сэр? - спросил директор.

И стало заметно, что он пьян.

Но Теняков больше ничего не сказал. Он сосредоточенно глядел на дорогу. И лицо у него было печальное и тихое. И больше оба ничего не говорили и оба молчали. И мне в зеркальце были видны их лица, и казалось, что молча они о чем-то говорят друг другу. И было странно, что наш усатый директор для Тенякова был просто "Валя". И от этого я вдруг представила себе, что когда-то он тоже учился в третьем классе и, наверное, хулиганил и учительница ему говорила: "Марголин, выйди из класса!.." Вот про его сына Женьку я такого представить себе не могла. Женька, помоему, так и родился с пятерками и со скрипкой.

И так мы ехали и молчали, и постепенно мне почему-то делалось все неприятней и неприятней... Стало казаться, что все не просто молчат - было так, как будто с нами в машине сидит кто-то Пятый, при котором нельзя разговаривать. И только директор

иногда хулиганил и разговаривал. Но теперь он протрезвел окончательно и тоже молчал...

Возле Нахичевани, там, где уже начинался трамвай, Теняков остановил эмку и сказал, все так же глядя перед собой:

- Вы сейчас тут выйдете.

При этом Пятюм прощаться и говорить "спасибо", очевидно, тоже не полагалось. Но прежде чем выйти, папа протянул Марголину руку и крепко пожал ее. Тот слабо, еле заметно улыбнулся, а потом сразу же отвернулся, как будто и этого делать было не положено тоже.

Мы не успели и выйти, как эмка рванулась с места и укатила. А мы остались стоять на тротуарных плитах, между которыми росла трава.

А потом рядом зашипел и остановился трамвай, но мне пришлось два раза окликнуть папу, потому что тот стоял неподвижно и смотрел вслед эмке... И только когда кондукторша зазвенела у него под ухом, он наконец сел в трамвай и мы поехали к невропатологу.

15

З Н О Й

Весь институт - и папа, и папины студенты, и другие преподаватели - все на уборке.

Но больше они гасят пожары. Горит хлеб. Это очень красиво. И очень страшно. Раскаленные суховеи секут в лицо угольной пылью с Донбаса. Уголь и сажа скрипят на зубах, забиваются в нос, в глаза. Дышать нечем. По Верблюду ползут разговоры: "Вон они когда себя оказали...", "Чикаются с ними, взять бы за глотку...", "Чего уж ждать, уж когда..." (дальше шепотом) "Да вы что?!" "Ну я вам говорю... Выявили..."

"Мне очень неприятно, но я хотел попросить вас... Это насчет Васи Силантьева. Вася славный парень... Я, разумеется, в нем уверен. Но все-таки скажите ему... Вам это удобнее, Лев Григорьевич. Не следует ему столько спорить с Валюшей. Вы понимаете, о чем я говорю. Валюша его любит... Но вы ведь знаете, какая она... бескомпромиссная..."

"Я, знаешь... (это говорит Вовка) изобрел такое стеклышко - приложил бы к человеку потихоньку - и, пожалуйста, сразу видеть, шпион он, или троцкист, или советский... А так не разберешь ничего..."

Через неделю после того, как мы с папой ездили к невропатологу, от солнечного удара умер парторг совхоза Тимофей Сергеевич Теняков. Это был день, когда в тени было 39⁰ и за день вспыхнуло три пожара за раз - один на третьем и два на одиннадцатом отделениях; и вихрем горячего воздуха унесло в жерло васинога комбайна мою белую тюлевую бабочку, которую мы с папой купили в ростовском универмаге.

Вечером Теняков пришел с поля без фуражки и сказал, что фуражку он потерял. Он сказал, что у него болит голова, и велел Искре сбегать в Поселковый за папиросами. Но не успела Искра добежать до калитки, как в доме что-то грохнуло и упало, и Искра

вернулась и увидела отца, лежащего на полу, а рядом скатерть со всем, что на ней было, и опрокинутый чайник, и на полу лужа...

Белое солнце било в медные трубы оркестрантов. Смотреть на них было нельзя... Тот самый дядечка, который с судком и бидончиком шел мимо нашего столика, когда мы провожали Скейларда, стоял на грузовике, прикрывая затылок газеткой, и говорил речь:

- Спи спокойно, дорогой товарищ! Нелепая смерть вырвала из наших рядов неггибаемого большевика и честного ленинца! Невозможно поверить...

Он говорил, а Теняков лежал в красном гробу возле его ног - строгий, с привинченным к груди орденом... А рядом на грузовике стояли похожий на Сережу Кострикова Ким и маленькая глупая Искра и заведующая библиотекой Нина Алексеевна - жена Тенякова. И у Искры было точно такое лицо, как тогда, когда мы пели ей:

Обманули дурака!
На четыре кулака!
А на пятый стуло...

А я стояла в салюте со своим классом, смотрела на них, и перед глазами у меня было одно: как неподвижными и спокойными глазами Теняков провожает мою злосчастную бабочку, проглоченную комбайном, а потом медленно снимает с головы белую свою фуражку, расправляет ее аккуратно и, оглядевшись по сторонам, засовывает в жерло комбайна.

16

К а з н ь

Наша вожатая Ирочка Марголина оказалась - герой! Оказалось, что она помогла Органам разоблачить подлинное лицо своего отца, который, оказывается, был Врагом народа, подкупленным иностранной разведкой.

Вовкина сестра старшая пионервожатая Валерия стояла у доски и рассказывала нам про ирин подвиг и про то, как мы теперь должны гордиться нашей вожатой, которая повторила подвиг Павлика Морозова.

Валерия читала нам из разных писателей о подвиге и героизме, а мы сидели онемевшие, ошарашенные величием ириного подвига, сознавая собственное свое ничтожество и невозможность восхититься этим ее подвигом в той мере, в которой он, очевидно, заслуживает...

В классе было тихо, как на диктante.

И вот тут дверь распахнулась и на пороге появился Генка Дубовик - второгодник из четвертого "А". Глаза Генки сверкали восторгом.

- Эй! - крикнул Генка. - Вы чего тут сидите?! Там во дворе наш Женька вашу Ирку убивает!..

Наша школа выстроена в виде буквы "П". Снаружи она белая, а внутри из красного кирпича. Посередине двора, чуть справа от котельной навалена здоровенная куча угля.

И вот здесь, на этой куче, мы увидели оскаленного, как волчонок, нашего "гогочку" и отличника, "гордость школы" - Женьку Марголина, который остервенело, кусок за куском, швырял антрацитом в голову своей любимой сестры - нашей вожатой - Иры.

- Что он делает?! - заорала Валерия. - Да уймите же его кто-нибудь, уймите!..

Но никто не сдвинулся с места.

А Ира стояла, прижавшись к красной кирпичной стене - тоненькая, в синем своем вельветовом платье, на фоне огромной красной стены; она не отворачивалась, только слабо прикрывалась рукой. И кровь и слезы, перемешанные с угольной пылью, стекали у нее по лицу.

17

да воскреснет бог...

Папа разлил кагор по стаканам - себе, маме и мне.

- Всё, Витька, - сказал папа. - Вот ты и большая. Что ж... Подыдем стаканы, содвинем их разом, да здравствуют музы, да здравствует разум!..

И мы чокнулись и выпили.

Я сидела между моими папой и мамой, смотрела на них, и мне сейчас было так, как однажды, когда я шла от Саши (Саша живет на одиннадцатом отделении) и началась гроза, и небо расколосось и с грохотом рухнуло вниз, и полился дождь, а небо все грохотало, но мне вдруг перестало быть страшно и стало вдруг замечательно...

Вот все и встало на свои места.

Черное стало черным. А белое стало белым. Добро и свет переставали быть тьмой и злом. Все стало понятно и просто.

Час назад папа и мама вернулись с митинга. Митинг был в клубе. Сначала говорил новый директор, а потом новый парторг (Хмырьс-Бидончиком). Они говорили речи. И призывали всех как один голосовать за ходатайство перед Органами, чтобы группу разоблаченных врагов-вредителей - бывшего директора совхоза Марголина, главного инженера Витта и профессора Михайлова - приговорили к Высшей мере: расстрелу. А потом говорили речи преподаватели и студенты, и инженеры, и комбайнеры, и учителя... И клеймили позором... И голосовали все как один. И только двое не подняли руки.

Эти двое - были мои папа и мама.

А потом они ушли из клуба. Они пошли в Поселковый и купили вино и дыню. И у нас был праздник. Мы пили вино и ели дыню.

И папа и мама говорили мне правду.

Правду про Дедушку Шаманского. И про Марголина. И про Нину-Большого. И правду про "Командировку". И они объяснили, что значит "Скрытый баптист"...

И они учили меня адресам, которые я должна запомнить, чтобы
сне было куда пойти, когда я снова останусь одна без них.

И я учила адреса.

И мы пили вино.

И ложь становилась ложью. И Правда становилась - Правдой. И
расточались врази ее, яко тает воск от лица огня...

ноябрь 1975 г.
Ленинград

СТИХОТВОРЕНИЯ

« : «

Смех мой, Агнче, Ангеле ветренный,
Подари мне венец нетления,
Бог невидимый - смех серебряный,
Светлый Бог Океана темного.

Бес, над трупом моим хохочущий,
Враг, пятой меня попирающий,
Смех - любовник мой вечно плачущий,
Узник в камере мира тварного.

Смех, страдающий в танце дервишей,
Я Иуда твой, друг тринадцатый.
Приготовь мне петлю пеньковую,
Бог мой - смех, меня отрицающий.

1973

пейзаж

Могильный островок, соль в земляной солонке,
Крупницы соли в рясах земляных,
Изыщество поста, изысканный и тонкий
Над трапезой благословенный стих.

Я там умру в июле на молебне,
До времени, когда воскреснет плоть
С трубою ангельской. Что может быть целебней
Господней крови, разве сам Господь!

1974

Два солнца в моих глазах,
Два ангела на часах.
Здесь - горечь, глухая медь,
Там - звон, верещанье, смерть.

Два лета, как в зеркалах,
Любовный лелеют прах:
Как быть, как любить, как сметь
И облаком умереть.

Да полно: со всех концов
Господь нам пришлет гонцов,
Седых от любви отцов,
Пока еще без венцов.

Все звоны монастыря
О нас прозвенели зря,
И лишь комариный рой
За нас постоял горой.

1974

сентябрьский сонет

Внутри меня гуляет сквозняком
Сентябрь со спелым яблоком в ладонях,
А время плодоносит дураком,
И всяк меня заговорит и тронет.

Откушав чаю, я иду смотреть,
Как намечтавшись всласть о самоваре,
Заморские разгуливают твари,
Всё внове им, как недоумку - смерть.

Иду себе, грызу суровый яблок,
А добрый Бог навьючивает облак,
И сивый дождь безумствует слегка...

Но хорошо, что понял я сегодня,
Как обойтись без милости господней
И убежать от злобного звонка.

сальери

О, ты забыл, что музыка двулика
И яд, хранимый в перстне мудреца,
Вновь распознает: музыка, музыка,
А жертва Авеля - больная блажь Отца.

Я - каиново семя и в смятеньи
Завидую, словоубийца, вор, -
Но, Господи, и я - твое растение,
Твой колос, твоя жертва, твой позор.

В кольце времен есть камень семигранный,
И чаша есть с небесного стола,
Чтоб напоить народ богоизбранный,
Не ведающий ни добра, ни зла.

О, ты забыл, что музыка - двулика -
причуда, музыкальная зола.
Как благодать на благодать - музЫка -
Отраву на отраву снизишла.

:: :: ::

Убить красоту, когда любуются цветами -
закричать: "Начальник едет!"

Из китайской премудрости

Нет, не Флоренца золотая
Нас папской роскошью манит.
Савонарола из Китая
Железным пальчиком грозит.

О век - полуистлевший остов!
Но я, признаться, не о том,
Ведь красоту убить так просто,
Испортит воздух за столом.

Русь избежит стыда и плена -
Ей красоты не занимать,
Начнет российская Елена
Больные ноги бинтовать.

Пока Европа спит и бредит,
Случается то там, то тут:
Москва горит, начальник едет,
Цветы безумные цветут.

1975

корабль дураков

Полно мне тужиться, тяжбу с собой заводить,
славно плывем мы, и много ли нужно ума
в Царстве Протeya? и надо ли связывать нить
тонкого смысла с летеЙской волною письма?

Только бы музыкой, музыкой заморозить
муку-сестрицу, сварливую древнюю спесь...
В вальсе русалочьем скучно бедняжке кружить;
в серых зрачках ее желтая кроется месть.

Кличет Асклепия, просит флакончик вранья,
черной дуранды газетного хлебца чуть-чуть,
а за кормю - то жизнь, то жена, то змея,
шопенианы бесцельной болтливая муть.

О, дурачье, как случилось, что нам невдомек,
кто мы, откуда, зачем мы грядем в пустоту?
Странные вести принес нам опять голубок
с вечнозеленой масличной неправдой во рту.

1975

жалоба старца на пути

Если б взяли разбойники
Только книги да ларчики,
Водонос да меру муки,
Милоть да каплю маслица -
Я послал бы им с ветром вслед
Крест и благословение,
Я узнал бы их имена
И просил бы им здравия.

Была горница прибрана,
Была доченька вымыта,
Все считали ее моей
Друженькой и невестою.
Знали только лишь мы вдвоем
Тайну нашу постыдную -
Тем приятнее было нам
Целоваться и каяться.

Вот вошли они, черные,
Кто откуда - в неровен час -
Кто в печную трубу вошел,
Кто из под-полу вырос вдруг.
Завлекли дочку-горлицу
В паучину пеньковую,
Обломали ей крылышки
И втроем надругались ей.

С тех-то пор и поет она
Песни дивные, странные
Или пляшет под дудочку
На посмешище муринам.
Я пойду к Монастырь-горе
В церковь к старцу-решителю.
Пусть велят оскопить меня -
Развяжи, скажу, доченьку.

Если казни сей недостаточно,
Пусть оставят меня таким, как есть -

Наказанным без наказания
И помилованным без милости,
Без пристанища, без друга близкого,
С малым зернышком веры нищенской.
Буду верить я, что когда-нибудь
Свет-Господь-Сам-Блуд и меня простит.

сентябрьская ошибка

Мне тяжело, зверь, мне больно, бес,
Не смей глаза пускать по кругу,
Останови их скользкий блеск -
Отдам тебе себя в заслугу,
Свою роскошную болезнь,
Приправь моим рассказом пищу...
Да ты, видать, и впрямь, как бес,
Чужого опыта не ищешь.

А я желал бы Ни О Чем
Перелистать с тобой и выпить,
Зажечь пред образом свечу
И слезы на полу рассыпать,
Завиться в смех, затеять чай,
Заснуть, рассеянно проснуться
И в полумраке, невзначай,
Лица мохнатого коснуться.

Но я забыл, что ум мохнат,
А тело смысла безволосо,
И обязал тебя стократ,
Коснувшись тела, как вопроса.
Вопрос, как зверя, побороть
Ты не сумел и ум наперчил...
Чадит свеча и пахнет плоть,
Как смерть - паленой гуттаперчей.

НОЧНОЕ

1

Что ты молчишь, Эрот,
Спутник бессонной ночи?
Если уж ты пришел,
Выслушай и ответь:

Разве любовь не в том,
Чтобы привлечь младенца,
Видеть, как вьется он,
Смертник о двух крылах?

Сам я таким, как он,
Был - и совсем недавно.

Ныне же я живу
Краткой жизнью других.

2

Вижу его глаза,
Губы в зеркальце тайном.
Сам же я и во сне
С ним не переглянусь.

Боже, как жалок он -
Воск, мотылек стигийский!
Смерть его, как вино,
Душу мою живит.

Но одного боюсь:
Вдруг я ошибся, сбредил?
В зеркало заглядысь,
Выпил чужой бокал?

3

Берег забвенья, ночь.
Два купца за Коцитом
Ждут - так любимых ждут -
Парусных кораблей.

В трюмах не снесь, не мед -
Клади воспоминаний.
Пестрый на вид товар
Неразличим на вкус.

Теми спешат, спуют.
Славно идет торговля!
Кажется, я впотьмах
Свой уронил флакон?

1978

ЭМИГРАНТ

У Лукоморья дуб зеленый

Послушай, что ты говоришь?
За делом на войне не тужат,
Лишь крупный зверь о Славе служит,
А мелкий бес летит в Париж.

Там Витебском расписан дом,
Французский день Жар-птицей начат,
И два любовника маячат
В небесной зыбке под кустом

Последних звезд, и век горчит,
А там, где горечь, нет соблазна,
Тоска безглаза, безопасна,
И Марсельеза не звучит.

От страха забывает имя
Булонский лес перед грозой,
И плачет церковкой-слезой
Американец-проходимец.

Лес окропился звоном слез,
Но раком съеден луг зеленый;
Лежит астматик утомленный
В букетах буржуазных грез.

Там мир безумней и косней
И некогда молить о Даре,
По уголкам сознаний шарит,
Крутясь, ирландское пенсне.

Там, по ночам мурлычет ужас,
Кот заплутавшихся грехов
Среди бесчисленных стихов,
Жоржеток, монплезиоров, кружев.

А нам, под сенью двух столиц,
Не надоело жить с опаской,
Питаться лаской да указкой
Рязанско-энских кружевниц.

Да-а... здесь такая благодать...
Да что ты говоришь? - Послушай:
О как неизреченны души,
Утраченные, словно ять!

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

1

Вчера напился пьян. Оскорбил двух друзей и одного врага. Плакал и грозился повеситься. Сегодня чувствую, что я ничтожество. Хочу умереть.

2

Открыл наугад Коран и прочитал: "Это Бог поднял небеса без видимых столбов и поместил на троне. Он подчинил солнце и месяц, и каждое из этих светил следует своему течению до назначенной точки".

Пока читал, пришла мысль:

"Господи, дай мне силы в пути, дай мне свое течение, дай мне, Господи, дай. Не оставляй своего блудного сына".

3

Сегодня признался в любви секретарше своего начальника. Упал на колени, закатил глаза. Дорогая, говорю. Любимая...

- Вставай, - говорит, - толстяк. Нечего, мол, валяться в ногах, это, - говорит, - тебе не дворянство. Тут, - говорит, - все проще: раз-два и готово.

Дома долго по этому поводу плакал. Мораль: морали никак не могу придумать, смотрю в зеркало и усмехаюсь.

4

Сколько бы меня ни убеждали, стою на своем: солнце всходит и заходит, а земля стоит на одном месте. Сегодня смотрел в небо - никакого движения не заметил. Но если выскажу эту мысль вслух - не поверят, скажут, с ума сошел. Попробуй объясни, что ты был когда-то сыном бухарского эмира, засеют.

В таком случае, во всем виноват Шакья-Муни. Его читал, ему поверил.

А вот, если бы вращалась земля, как бы ходили трамваи?

5

Лежа на диване, долго думал: "Место ли приложимо к человеку или человек к месту?"

Так и не додумался ни до чего.

6

А все-таки не случайно у меня высшее образование. Сегодня сижу за столом, смотрю на начальника. Вижу его в профиль. Нос у начальника не нос, а конская колбаса. Так и хочется откусить.

Муха, пролетая, села начальнику на лысину. Сразу пришла мысль: начальник - электрическая цепь, муха - проводник: замыкание...

По закону Ома сила тока падает, а напряжение возрастает...

Вижу, начальник покраснел от напряжения, сила тока упала - напряжение возросло. Жду замыкания. Уже чувствую свою вину, но наблюдаю...

Интересно, разругает ли он меня или не разругает. Глаза у начальника налились кровью, а на лбу выступил пот.

Втянул голову - жду разноса. А муха все сидит на лысине.

Облегченно вздохнул: муха, почистив лапку о лапку, вспорхнула.

Кровь отлила от лица начальника. Он провел рукой по вспотевшему лбу.

Мой начальник никогда не убивает мух. Он вегетарианец.

- Тоже Божья тварь, жить хочет, - говорит он, поймав муху и оторвав ей одну лапку.

Рассмотрев ее, он со вздохом отрывает еще лапку и, раскрыв ладонь, выпускает муху.

- Живи, - говорит он, улыбаясь. - Летай.

А как же с законом Ома? Что-то напутал старик. Не всегда муха, севши на электрическую цепь, может замкнуть ее.

7

Опять был пьян. Целовал на Невском руки прохожих. По этому поводу на следующий день долго смеялся и сочинял стих: "Я чьи-то руки целовал, меня никто не понимал..."

Впрочем, поэты - народ сейчас дрянной и ничтожный, да и развелось их много. Пишут все, пишут, а чего пишут, одному председателю Совета министров известно.

Спросишь: кто ты? Поэт, мол, а сам на тебя и не смотрит. А где же, говорю, человечность, гуманность, где?

- Читай, - говорит, - мои стихи. Вот, - говорит, - дарю. А гуманизм, батенька, не фунт изюма. За него в прежние времена на костер шли, на виселицах горели...

- Да, - говорю, - фунт изюма можно съесть, а виселицы в наше время слишком дорого стоят...

Будучи во главе правительства, я бы подобных поэтов послал бы подальше. Чувствую, погубят они Россию.

8

Все сейчас говорят о погоде, а погода - дрянь, весна, много солнца...

Мальчишки весь день кричат. А чего кричать? Одного поймал за ухо.

- Дядь, - говорит, - больше не буду.

А какой я дядя, когда я сам недавно был пионером...

9

Спускаясь, на лестничной клетке мысленно соблазнил двух женщин и одну собаку. Но никому не скажу. Век слишком добродетельный.

10

На Невском ко мне подошла весьма симпатичная особа:

- Я знаю, - говорит, - что вам надо... Я знаю, что вы хотите...

- Да, - говорю, - знаю. Жалко, нет публичных домов... А женщин я люблю только мысленно. Впрочем, и не женщин, а всего лишь одну их женскую часть.

Сказав, отбежал и стал смеяться и показывать ей фигу.

Говорят, фигу - это масонский знак. Боюсь я этих масонов. Еще посадят когда-нибудь в сумасшедший дом. Вот и живи...

Как жить в такой стране, где каждый второй масон?

11

В комнате было темно. Лежал на диване и решил пошалить, если, конечно, на самом деле существует телепатия. Мысленно передал следующее обращение к главам великих и малых государств, включая Мозамбик и Антильские острова.

Вот оно:

"Ныне обращаюсь единственный и последний раз в моей жизни. Мое имя - Сосискин. Мне тридцать лет, а счастья мне нет. А все потому, что один знаю, гениальным оком смотрел во все концы и

узнал. Ныне грозит великое нашествие марсиан, в злодействах превосходящих китайцев."

Я уж не раз обращался к соседке Дарье Николаевне: "Дави, - говорю, - ты их, что они, - говорю, - все лезут и лезут. Укрепи свои границы и дави. Чувствую, что России придется спасать Европу. Клоп - вещь опасная, переползти может. Между прочим, нынешний литератор похож на клопа: его давят, а он лезет. Мол, поделом - не пахни клопом."

Долго смеялся, а чего смеялся? - стало грустно.

12

Сегодня, придя на работу пораньше, удивился, застав начальника и секретаршу. Секретарша держалась за край стола и, наклонившись, что-то искала на полу.

А начальник норовил толкнуть ее животом.

- Что, - говорю, - вы делаете, Павел Матвеевич?

- Да вот, - говорит, - Сосискин: если хочешь быть здоров, позабудь про докторов. Делай по утрам зарядку. Эх, скорей бы зима и на лыжи. Лыжи, - говорит, - у меня самый любимый вид спорта.

Странно, очень странно. И потому странно, что сам на лыжах не катался и не тянет.

13

Сегодня пришел к следующей глубокомысленной мысли: "То, что я был попутчиком в последней революции, виноват, по всей вероятности, Шакья-Муни. Впрочем, он виноват и в том, что я в свое время был сыном бухарского эмира."

Хотел как следует обвинить его, но не стал. А все потому, что слаб человек - любит понежиться в сладостных дебрях гарема. Мораль: когда читаешь Коран, прочти и эту сноску.

"Мужчина, имеющий не одну жену, не должен увлекаться прелестями одной, презирать прочих. На этот случай Магомет-пророк говорит:

"Неравно обращающийся с женами в день воскресения своего явится с двумя неравными половинками задней части тела".

14

Встретил в полдень знакомого литератора. Приложив две руки к штанам, мочился на Александрийский столп.

- Вот, - говорит, - какова у меня цель, и я ее скоро выполню.

А цель его такова: обмочить все достопримечательные места в городе.

- А если и в Париж выпустят, и Париж обмочу. В первую очередь Вандомскую колонну подмою, а во вторую - Нотр-Дам.

- Нотр-Дам, - говорю, - это не ново. Нотр-Дам уже Гиргантюа обмочил.

- Какой, - говорит, - Гиргантюа, я и не знаю. Может, он и не член союза, твой Гиргантюа. Может, он просто мясник, в пищеблоке работает...

Мысленно обругал литератора, не произнося вслух того слова, которое могло бы составить макет этого столпа.

Расстегнув гульфик, встал рядом... Потом посмотрел вверх, столп даже не покачнулся. Немного постоял в знак почтения, опустив голову долу.

По дороге домой все казалось, что кто-то за мной гонится. Уж не масоны ли?

15

Снова думал о том, о чем я часто думаю: приложимо ли место к человеку или человек к месту. Встав с дивана, понял, но умолчу. Не хочу неприятностей на работе.

16

Не пошел на работу. Как там мой начальник? Мысленно показал ему фигу в кармане. Любопытно, будет замыкание или нет?

17

Проснулся, а в голову стучит: масоны, масоны. Двести пятьдесят миллионов масонов и один телевизор. В телевизоре мой начальник сидит.

- Что, - говорит, - Сосискин? Знаю, что тебе хочется. Знаю, что ты за человек.

Но погоди, доберусь я до тебя. У меня, - говорит, - давно на тебя зуб стоит. Распустились, - говорит, - работать не хотят. Нам, - говорит, - подавай свободу. Мы, - говорит, - в рай хотим жить. А где он, этот рай? В Эфиопии, что ли? Я бы, - говорит, - этих эфиопов воспитал, я бы из них сделал человек. Они бы у меня из эфиопов неграми стали.

18

Приходила какая-то женщина от управдома:

- Не платишь, - говорит, - полгода за квартиру.

- Я, - говорю, - мысленно заплатил за два года вперед.

- Что ты, дурак какой, - говорит, - не понимаешь русского языка?

- Может, - говорю, - я и дурак, но не такой дурак, чтобы совсем дурак, а такой дурак, каких дураков не было.

- Так ты, - говорит, - так прямо и скажи, а то возьмем тебя и выслем. Нам, - говорит, - из-за тебя премию второй месяц не платят.

- А что меня выселять, - говорю. - Я и сам скоро уеду.

- Куда это? - говорит.

- В новую квартиру.

- Что? - говорит. - В кооперативе купил?

- Купить-то, может, и не купил, а получаю...

- Я, - говорит, - так и знала. Все вы, - говорит, - такие. У тебя, например, и на физиономии блат написан.

Когда ушла, подошел к зеркалу, но ничего написанного на физиономии не заметил, а заметил родинку на левой щеке. Потрогал пальцем - удивился.

19

Распродаю книги и всё потому, что скоро переезжаю. Пока нес до магазина, упрел. И все дворяне, все князья. Одного Пушкина девять томов сдал, да Гоголя семь. Гоголь, видно, был поскромнее.

Понаписали, а ты таскай. Нет, написать по книге - и довольно, а они всё собрания, всё сочинений...

Вот - Пушкин: грущу, мол, в селе Михайловском, то осенью, то зимой грущу, а летом вообще дрянь - всё комары да мухи...

Мне бы такое село и таких мух, я бы такое написал. А он всё ножки да ножки - где вы? как вы? увижу ль вас в последний раз?

И это, говорят, поэт, это, говорят, гений, а может быть, мне эти ножки и мешают спокойно жить, может, мне эти ножки и снятся во сне, может, я и сам сочиняю о ножках стихи, вот например:

Твоя нога красивей, чем моя.

Не в этом соль, не в этом суть печалей.

Печали в том, что вы с другим пропали.

С другой ногой, любимая моя.

В магазине у прилавка встретил знакомого литератора.

- Здравствуй, - говорит.

- Здравствуй, дурак, - говорю.

- Я не дурак, - говорит, - я литератор.

- Да, - говорю, - такой нынче дурак пошел - всё пишет и пишет.

- Я, - говорит, - не пишу, я сочиняю.

- А что, - говорю, - сочиняешь?

- Романы, повести, рассказы. В прошлом году сочинил роман, в этом рассказ, а в будущем - повесть.

- Ну, сочиняй, сочиняй, - говорю, - ладно. А ты Албан-Гирева знаешь?

- Нет, - говорит, - не знаю.

- А Малогреева знаешь?

- Нет, - говорит, - не знаю.

- А Алексеева, - говорю, - наконец, ты знаешь?

- Нет, - говорит, - не знаю и знать не хочу. Не приставай, - говорит.

- Ну, вот и дурак, - говорю. - И дурак в квадрате.

Обиделся: это почему же в квадрате?

- А потому, что Алексеева каждый дурак знает. Как выйдет его новая книга, так все и говорят: "А, говорят, знаем. Это тот Алексеев, что на Дворцовой дворником работал". И не берут. Так на прилавках и написано: "Алексеев".

- Черт бы их побрал, этих Алексеевых. Может, их у нас целая Монголия. Сто тысяч в Москве и двести в Ленинграде... Поди в них разберись, кто из них Алексеев, а кто и нет...

На этом расстались. По дороге домой долго думал: почему нынешний литератор в таком почете. Очевидно, потому, что россиянин к иноземцам всегда относился почитательно.

20

Звонил начальник. Говорит: "Что, Сосискин, на работу не ходишь? Заболел или как?"

- Может, - говорю, - и заболел, а может, и "как". И сам не знаю. Позвоните в следующий раз.

- Шутить изволишь, - говорит, - отвечай, Сосискин.

- А что отвечать, - говорю, - Павел Матвееч, одно знаю: фирма лопнула, гонконгский злодей сдох.

- Это еще что такое, - говорит.

- А то, - говорю, - антимасоном не был и не хочу. Да и как я могу им быть, когда я им сам был и звали меня - Чингиз-хан.

- Что за чертовщина, - говорит. - Ты что со мной шутишь?

- Это я-то шучу, - говорю, - никогда я не шутил и вам не советую. И потом, Павел Матвееч, может, я никакой и не Сосискин, а просто агент международной разведки. Это я сейчас и выясняю.

- Да ты, что, свихнулся, что ли?

- Может, - говорю, - и свихнулся, но если и не свихнулся, то отчего же не свихнуться. Потому, как свихнуться, когда и не свихнуться, чтобы свихнуться, собственно есть от чего.

Начальник обругал меня матом по телефону и повесил трубку. Я тоже, когда повесил трубку, обругал его матом. Я его обругал четыре раза.

21

Все говорят о лете. А мне что-то не верится, что оно когда-нибудь будет, когда-нибудь придет оно.

Сегодня встал рано утром, и внутренний голос мне сказал: "Снег выпал, пора и на работу".

Разве лето приходит к тому, у кого в голове зима?

22

Ходил в зоопарк смотреть на бегемота: заодно зашел и к обезьянам. Очень понравились мне маленькие шимпанзе. Особенно одна. Сидит, кулачок подложила под голову и плачет.

- Что ты, - говорю, - плачешь, глупая?

Молчит.

- Я знаю, - говорю, - почему ты плачешь. Замуж тебя никто не берет. Вот ты и плачешь.

Молчит и ни слова.

- Оба мы, - говорю, - с тобой несчастные, обоих, - говорю, - нас с тобой нам жалко.

Мысленно хотел соблазнить ее, ко не стал. Решил лучше соблазнить слона. Отправился к клетке. Но помешал злодей - попугай. Когда проходил мимо, как рикнет, так я и упал. Не помню, как я и очнулся.

Может, это кричал и не попугай, а все это проделки масонов. Ох, уж эти мне масоны. Боюсь я их.

23

Сижу на работе. Начальник как ни в чем и не бывало. Только спросил, как я себя чувствую. Не заболел ли я. Может, подлечиться надо.

- Ничего, - говорю, - Павел Матвееч. Я потому на работу не приходил, потому что новую квартиру получаю.

- Где? - говорит.

- В Дании, - говорю, - датский принц просил об этом датскую королеву.

- Ах, так, - говорит, - Сосискин, жаль, очень жаль.

Вот, говорит, что может произойти с человеком. А все оттого, что мнить о себе много стали: мы, говорит, в комнате жить не хотим, нам, говорят, подавай отдельную квартиру. А где я им возьму отдельную квартиру: на даче у бабушки, что ли?

- Не знаю, - говорю, - Павел Матвееч, мне ваша дача не нужна, я, - говорю, - и без дачи скоро въеду.

- Ну, ладно, - говорит, - Сосискин, можешь идти домой. У тебя утомленный вид. Отдыхай, - говорит, - Я тебя не держу.

Я стал собираться, но тут произошло то, что сначала меня рассмешило, а потом повергло в глубокое уныние.

Муха, пролетая мимо начальника, не опустилась к нему на лысину. Сделав несколько кругов над головой, она на бреющем полете подлетела ко мне и опустилась на кончик носа. Скосив глаза, долго рассматривал ее. Зверь не страшный, но шекотно. Размахнувшись, влепил себе по носу. Мухи не убил, а из носа пошла кровь. Приложил платок к носу, задумался. То, что муха села именно на меня - дурной знак. Так и оказалось: неожиданно я узнал, что мой начальник - масон.

К нам в отдел вошел проситель.

- Можно, - говорит, - пожалуйста.

А он и не взглянул на меня, он сразу к начальнику, чувствует, что с меня проку мало.

- Мне, - говорит, - негде жить. У меня жена, ребенок, а мне, - говорит, - негде жить.

Начальник усмехнулся ему и говорит:

- А зачем же ты женился, если негде жить. Зачем же ты, - говорит, - ребенка родил. Думал ли ты о чем или нет?

- Я, - говорит, - ни о чем и не думал, - говорит, - ни о чем и не размышлял.

- Вот то-то и оно, - опять усмехнулся начальник. - Все вы ни о чем не думаете. Думай, мол, старик. А, может, старику уже и нечем думать. Может, старик никогда и не думал...

- Павел Матвееч, - говорю, - может, мне отказаться от своей квартиры, может быть, мне и не нужна квартира.

Начальник и не взглянул на меня.

А проситель стоит.

- Семья, - говорит, - дети, Хемингуэй...

- А при чем тут Хемингуэй, - спрашивает начальник и так спрашивает, что у меня мороз по коже продирает. - При чем, - говорит, - тут Хемингуэй...

- Павел Матвейч, - опять говорю я. - Я отказываюсь от квартиры. Не нужна мне эта квартира. Я и в комнате могу прожить.

Начальник опять не взглянул на меня.

А проситель все стоит. И не то что плачет, а так губами как-то вздрагивает.

- Я бы, - говорит, - для себя и не стал просить, а вот семья, дети, Хемингуэй...

- А при чем тут Хемингуэй, - вдруг как закричит мой начальник. - При чем тут Хемингуэй, когда Хемингуэя никакого и не было...

А проситель взглянул на начальника и тихо, очень тихо говорит:

- Так, - говорит, - Хемингуэй, и всё...

Вдруг мой начальник улыбнулся, вроде как-то его что-то улыбнуло.

- Как звать-то тебя, - спрашивает.

- Владимир, - тот ему.

- А по батюшке?

- Владимирович.

- Ну, Владимир Владимирович, - говорит. - Сделаем. Будет. Не пропадешь. Тебе комната нужна?

- Да, - говорит тот, - нужна.

- А комнаты нету?

- Да, - говорит, - нету.

- Ну так вот, у тебя комнаты нету, а ты за ней к нам и пришел.

- Да, - говорит, - так прямо к вам и пришел.

Тут усмешка напоззла на улыбку начальника. А на усмешку напоззло еще что-то, от чего начальник вдруг как закричит:

- Нам, - говорит, - Хемингуэи не нужны, у нас, - говорит, - своих Хемингуэев хватает. У нас на каждого такого Хемингуэя десять своих Хемингуэев найдется. Да и каких Хемингуэев...

Мне вдруг стало страшно... Озираюсь по сторонами и углам, а вокруг все масоны, масоны и впереди мой начальник, и у него из-за спины что-то шерстяное торчит, то ли хвост какой, то ли еще что-либо, и не разберешь...

- Павел Матвейч, - говорю. - Уж лучше я уйду, уж лучше мне уйти, мне, - говорю, - и в самом деле как-то нехорошо, мне и в самом деле надо отдохнуть. Эх, - говорю, - скорей бы в новую квартиру, скорей бы в Данию, к датскому королю, уж очень печально как-то жить, так печально, что и жить не хочется...

- Ну, - говорит, - Сосискин, квартиру ты свою скоро получишь. Я тебе обещал.

- Павел Матвейч, - говорю, - а где она, эта страна Дания? Где? Вчера я ее искал, но нигде не нашел.

- Дания, - говорит, - это левее, чем Швеция, если смотреть на Север, и правее, чем Англия, если смотреть на Юг.

- Нет, - говорю, - не хочу я в Данию, уж лучше в Англию - там, - говорю, - и умру.

- Что, - говорит, - эта Англия. Всего, - говорит, - один лишь остров.

- Нет, - говорю, - не хочу я на остров. На острове, как в тюрьме. Уж лучше в Россию. В России родился, в России и умру.

И как я это сказал, так мысленно я и заплакал.

- Павел Матвейч, - говорю, - так я, - говорю, - я рад, так мне хорошо...

Сам говорю, а сам мысленно плачу.

- Молодец, - говорит, - Сосискин. Сразу видно, что настоящий патриот.

Тут меня и прорвало.

- Я-то, - говорю, - может, и патриот, может быть, и так. А ты-то, - говорю, - просто-напросто масон. И имя твое масонье. И дети твои масоны. И жена. Монгольское, - говорю, - вы иго - татарское нашествие.

Начальник смотрел на меня очень долго, смотрел и вдруг покраснел.

И я сразу все понял. На голове у начальника сидела муха. Старик оказался прав. Замыкание произошло. Закон Ома сработал.

- Вон, - закричал начальник, вскинув туловище вверх и вытянувшись по стойке смирно.

- Есть вон, - ответил я и, весело щелкнув каблуками, выскочил в коридор. В коридоре, склонившись над урной, долго плакал и ворошил рукой мусор в поисках закатившейся монетки или потярянного полурубля.

Теперь я точно знал, что получу новую квартиру.

24

Вот я и там, куда я знал, что я попаду. Кормят меня здесь три раза в день. Народ все тихий. А если и разглагольствуют, то больше наедине с собой.

Один сначала приставал ко мне с одним и тем же вопросом: "Знаю ли я Ольгу Рубан - проститутку нашего времени". Но я пригрозил ему, поведив указательным пальцем около его носа. Он обиделся и перестал приставать. Наконец-то по утрам можно спать, не надо ходить на работу, не надо знать, где и какое стадо масонов убивает друг друга...

Мне нечего теперь бояться, меня это не касается: я записан в великий сонм датских граждан, у меня есть еще время подумать, я остался наедине с самим собой, и я постараюсь вспомнить и осмыслить всю мою жизнь: где я родился, когда и для чего я собственно здесь, и отчего так грустно в том мире, который солнечным днем и светлой зеленью виден за окнами.

1969

Владимир Алексеев живет в Ленинграде, работает пожарником. Ему 36 лет. Учился один год в Ленинградском университете. Пишет прозу не менее пятнадцати лет, за это время на родине был напечатан лишь один его рассказ, в альманахе "Молодой Ленинград".

Владимир МАРМЗИН

СМЕШНЕЕ ЧЕМ ПРЕЖДЕ

ЦИКЛ РАССКАЗОВ

Жить стало лучше,
жить стало смешнее.
Из решений

I

персональный пахарь

Говорят, жил в районе нашей области один персональный пахарь. Якобы был он работником земельного хозяйства, на тракторе но не упускал своего назначения личности. Трактор служил ему верным помощником, он просто чуть ли не на нем въезжал до самого последнего предела и оставлял, когда уже просто не лез ни в какие ворота.

Поэтому он очень уважал свой практически трактор, любил два раза в день положить свою руку на железную спину и проговорить из старой песни: "Мы с железным конем все поля обойдем!" Или что-то созвучное, не могу утверждать. Великий был пахарь, известный за пределы возможности. Пахал без усталости, вширь и вглубь, а также, кажется, от края и до края.

Чудесные молодые зубы, обут в сапоги, и от этих сапог исходит запах гуталина. В своих красивых губах он все время держит папироску, и приятный сизый дым шел от него в ноздри женского пола.

Прибыл в те годы в деревенскую окрестность некто Туркин. Прибыл, огляделся и говорит:

- Что-то небо у вас сильно сдвинулось на положение криво. А кто у вас, скажите, держит небо? Чтобы не упало и вообще от переменчивой политики погоды и климата?

Переглянулись деревенские и говорят:

- Да, вроде, никого. Может, конечно, и держат, но не в нашей деревне. Может, где повыше кто держит.

- Ну ладно, - соглашается Туркин. - Беру этот вопрос на свое разрешение. Вы, значит, будете работать, а я буду небо держать. Разделение труда.

Сел он на пригорке, начал небо держать: из расчета в час по трудоводню - за ответственность. И за каждый белый облак набегает по дробу. А когда пришло время обедать и все уселись, чтобы съесть, как полагается, по труду от способностей, Туркин нагло лезет в две ноги с пригорка вниз, хочет отведать свое разделение. Но пахарь наш кричит ему с трактора (он и кушал на тракторе).

- Стой! - кричит. - Ты чего это делаешь? А кто же будет небо держать это время на уровне понимания?

Тот обратно заполз на пригорок, сидит: ничего не поделать с растущим сознанием. Сидел-сидел и придумал.

- Ладно! - говорит. - Ты мне будешь второй секретарь по держанию неба. Я тебе его на час доверяю, а после снова приму на себя.

Но тот не хочет.

- Где уж нам уж, - говорит, а сам прихихатывает. - Мы к самодержанию не приучены. Нам бы чего-нибудь такое вспахать.

Опять сидит Туркин, неотлучно держит небо, - а внизу диктатура аппетита народа. Кругом стоит питательный хруст, и по окрестности всюду пищит за ушами. Некто Туркин не выдержал.

- Ладно, - говорит он по-простому, - ребята. Я его маленько отпущу. Недолго можно.

Опять опускает с пригорка ботинок.

- Стоп! - кричит страшным голосом пахарь. - Гляди, как влево накренилось! Не пускай его, держи его, оказывай братскую поддержку, не сгибая усталость!

И остальные уже недовольны, глядят с нехорошим выражением, как не свои. Переживают за небо.

Этот некто уже сам не рад, уже не знает, как взяться.

- Да бросьте! - говорит. - Нельзя с таким увеличением думать про небо. До меня же, - говорит, - оно держалось? Держалось.

Деревенские чешут в затылочной части. Это у них есть обычай народа, когда ответ затруднителен в силу возможностей.

- Раньше, - отвечают, - может, кто-то держал, мы не знаем. А теперь ты принял на себя, и неизвестно: а коли там отпустили? Мы не возражаем, пускай разделение, но уж ты не ходи, ради Бога, держи.

А пахарь кричит, подбивает:

- Ой, - кричит специально безграмотно, - сейчас упадет и задавит мой трактор! И мои производственные силы погибнут во цвете!

Тогда этот Туркин велит звать жену, чтоб его накормила без отрыва от плана. Жена забралась на пригорок, лоя на ходу между пальцев траву, чтобы по-народному проверить: петух или курочка. Почему-то всю дорогу получался петух.

- Такое решение, - сказал жене Туркин. - Я, значит, небо держу, они пашут, а ты меня кормишь. Разделение быта.

Для нее, правда, всякое деление хорошо, лишь бы жить, где больше женского хлеба, где есть продукт и доятся коровы.

- Что-то мне сегодня петух и петух. К чему бы это? - сказала жена и погладила себя по хорошим бокам. - А небо разве надо держать? Небо - это твердь.

- Молчи! - приказал жене Туркин. - Никогда не включайся в теорию практики. Ты мне испортишь всё кормило.

Жена зевнула и включаться не стала. Покормив своего работающего Туркина, она спустилась с пригорка, обрывая отаву.

- Всё петушки да петушки, - сказал ей пахарь развязно, с мужским выражением. - Верно я говорю?

- Верно! - удивилась она. - А ты откуда знаешь?

Он захохотал, потом сплюнул вежливо в цветок и предлагает:

- Не хотите ли, женщина, прокатиться на тракторе?

Женщина, конечно, завлеклась, ей на трактор охота. И сели тут они на верную машину. И помчались. Жена хохочет, на стульчике вертится, от толчков вся волнуется, припадает к водителю, в общем - катается. А пахарь пустил направление по воле мотора. Сам до земли пригибается, хватает горстью траву - и всё у него в горсти курочки, одни только курочки. Некто Туркин неспокоен у себя на пригорке, приплясывает. Деревенские смотрят, не бросил бы небо.

- Петух! - кричит жена, заливаясь.

- Курочка! - отвечает ей пахарь и чешет на полную.

Ну, и конечно, он ей показал, к чему бы это ей петух выходил целый день. Он развернул себя тут же, на полном ходу, не слезая с машины, и не худо развернул.

- Разделение труда! - кричит, и сам разделяет без устали.- Одни небо держат, а мы, значит, пашем!

- Паши-паши! - кричит жена, забыв про Туркина, который был мастер держать только высь. Ну, и наш, значит, пашет на весь разворот.

Не выдержал Туркин такого примера, бросил небо и пустился за трактором вскачь. Но нет, не догнал. Разве пахаря догонишь в этом деле? всенародный умелец! Только доказал, что он при небе был лишний.

Потом уже, как ни просился он к небу - не взяли.

В тот период, на почве дальнейшей ревности пахаря, жена его часто вынуждала, чтобы он ее ударил, что с его стороны в конце концов нашло свою поддержку.

ПРОЧЬ ОТ МЕСТА КАТАСТРОФЫ

Борису Вахтину

И надо же попасть на глаза ребенка такая страшная картина, уличного переезда после перелома буквально человечности. Не было слышно ни птичек, ни шороха, никого. Народ обступил, борясь с отвращением крови. Милицейские как с неба выпали, даже непонятно: если находились ответственно тут, то почему не отвратили из-под шины. Медицинские с воем пронеслись перекрестками, пользуясь обгонять, но все равно опоздали на жизнь. Страшное сейчас время, которое калечит механически души, шина, кажется, мягкая, но не удушает, рвет до кости. Моторную часть никто не осуждает, а ведущий сам вскрикнул и потерял действительность, будет долго выходить из учреждения власти на воздух. Много предлагали запретить владение, не умея массово ездить, особенно поперек друг друга, но строят новый итальянцы по миллиону штук с конвейера, некуда девать - такая опустилась генеральская линия. Не знаю, что тут сказать про женщину. В личной ей большее место, когда она особенно своя. Чужих пусть возьмат вокруг нас в ав-

тобусе: без них пусто, много воздуха, а он газовый, и без прижима, некоторые сами со страстью, но делают вид отвращения. А в мороз особенно желаешь прислониться, как писал Есенин, к мягкому, к женскому - не к мужскому же. Один у нас поэт, и тоже зарезали. Писал личной кровью, английская какая-то кровь была, из шеи, выходила сама, как народное сознание. Случайно вступил в политическую борьбу, всемирно-историческая Айседора раздевалась при народе за одно слово поэта. Называла Ивашечкой, но разошелся и шесть детей бросил как один. Ивашечка, то есть сокращенно русская национальность - всё больше сокращала как запанибрата с поэтом. Вообще иностранных мы не уважаем, кроме женского туризма. Особенно любим малые нации, даже без цвета кожи. Суоми с финлянского вокзала на выходной приезжают с пособием, возраст у себя на бирже не вышел мордой, и они не чают надежды, кроме наших побратимов. За так, конечно, никто не берется, языков ихних не знаем, а столичную можно принять в благодарность между народов за труд, но израсходовали всю для холеры, в Астрахани школьники подносили по домам для убеждения лекарства, а новая экстрас холерность не восстанавливает, поэтому теперь разослали по всему государству, кроме мест опасности. На рупь приподняли, потому что для лекарства холерникам сбавили на примерно эту сумму, но в газетах не извещали: не манить нас в болезнь эпидемии. Распределили тяжесть поровну с больной головы на здоровую, финские тоже несут удовольствие за Керчь, Одессу и Астрахань этого года: то же самое им бьет теперь с копейками рублем, с небольшими. При наличности, правда, этот рупь вынимаем и сами. Для заграницы такого найдется, я достаю из широких штанин, говорил Маяковский, у советских собственная гордость по этому делу. Один был поэт, фигурально восьми пядей во лбу, выше всех писателей, посмертно восстановлен в живых за отсутствие состава. Я, говорит, разбился, быть или не быть, и я всю жизнь любил втроем одну женщину, а водку ни за что. В Москве теперь памятник, выше всех писателей, облако в штанах, а живого нигде нету, хотя цыганка нагадала 76 лет без одной седой морщины. Осталось сказать про евреев. Есть, конечно, генеральская линия, но сами виноваты. Сталина отравили по делу врачей культа личности, а он им плохого не высказал, сам грузин с диких скал осетина. Нам приходилось достаточней хуже, но мы терпели, как до отмены Бога и Святого Духа, и посмертно вздохнули невинный период, так что евреям большое русское спасибо, но только проживающим в нашей стране, хотя противные бывают рожи, но не все.

МОЙ ОТВЕТ ГОГОЛЮ

Не будет преувеличение сказать, взять к примеру жену. Требуешь по загсу почесать спину, вызывает неизменный отпор. Чешет, отвратясь, с дурными разговорами и дерзко, предлагая жениться на щетке - уши вянут. Как известно, они ничем не закрыты, нет еще в природе ушного кожного века. Не приспособлена женщина теперь к семейной жизни, не учат в школе. Одна особа, которую люблю кроме брака, сказала в припадке откровенности: сейчас в школе разрешают носить на себе всё, что вырастет, без проверки. Не учат даже в газете, органе ЦО, как выполнять супружескую верность. А когда-то собственная бабушка могла годами чесать мужу спину без ропота.

Прочитал статью: нам нужны обязательно гоголи. Думал, про костюм современности моды, но нет. Какой-то гоголь выдавался сто с лишком лет назад, обрушилась волна народной любви и ликования. Нам это устарело, буквально только для книжности. Гоголи ходили в высшем классе, у нас демократически называем стилиага, а по-молодежному "попс", нецензурное слово одежды. Полностью отрицать нельзя, одежда имеет большую внешнюю организацию. У нас на работе был венгр, из венгерской страны, а совершенно невоспитанный вежливо. Кусает пальцы за ногти кривыми зубами, потом дает руку: пожалуйста здрастье. Я не брезгую его нацию, а такую руку брезгую. Но пиджак у него каждый день заграничный. Теперь и мы догнали душу населения, гражданские так надеваются, не хуже министра. Выйдешь в воскресенье: костюмчик швейного пошива, пальтецо с отворотом, а поверх всего зеленая шляпа лежит. Чем не венгр, несмотря на цвет крови. Без этого не можешь заговаривать, женщина озверела от стыдливости. Даже особа, которую люблю кроме брака, - только при таких обстоятельствах. За ней ходили двое, Шурик и Юрик, студенты. А со мной познакомилась случайно: потеряла кошелек, принимал участие в сохранности вещи. Шурик и Юрик никогда не устоят, она меня отметила в своих глазах, хотя кошелек всего на два с полтиной. Вечером гуляли вдоль окрестного населения. Несколько слов о себе, сказала она честно, потом прижалась ко мне, и мы забыли сознательность прямо на улице.

Она постоянно говорит: хочу быть всегда с тобой. Как бритва "Спутник". Но я не могу, по независимым обстоятельствам: после

свадьбы кулаками не машут. Жена тоже не виновата. Она была молодая, акт совокупления мы сделали, ну что же после? Женились, стали жить дальше, а дальше некуда. От возраста narosло много дикого мяса и стала недоступной нормальному объятию мужчины. Врачи говорят: не нарушайте порядок пищи. Но, от применения, в ней происходит только хуже.

Видел статью: "К больному пришел библиотекарь". Я понимаю почин изменения, кадры решают всё, раньше приходил врач квартирного вызова. Но, вероятно, течение к лучшему: нас обслуживал доктор, он полковник отставки и не знает структуры этой работы. Ни на одну болезнь не мог ответить, говорил: определяется ролью случайности. Да этого не может быть никогда в нашем обществе! Я проезжал один раз в такси через город, безжалостно, с той особой: все общежития славил партию, она не допустит разложения болезни.

Прочел статью: единица куется в бою. Не понял, просто не понял. В нашем бою кувались сплоченные массы. Автор спешит зарабатывать рубль, не дойдя сути смысла. Захотелось признаться в самом тайном: мечтаю полежать рядом с молодостью... вспомнить опасности. Теперь я уже не военнообязанный, пускай Шурик с Юриком, я уже ничем не обязан войне. Но губы еще как резиновые, единственно этот зуб наверху. Он уже не соответствует надкусу, нижний под ним удалили навечно, поэтому его надо чистить. Хотел небольшую шерстяную бородку, одна беременная супружеская пара не советует: будешь целый день в работе по своей персоне. От работы кони дохнут в нашей действительности, но особа, которую помимо брака, очень просит. Боюсь, что не устою: в этом моя слабость.

Прочел статью: театр идет в разведку. Он идет, чего-то ищет, кругом шпионская опасность и рабы капитана. Написал письмо протеста: руки прочь от одной шестой части суши. На всякий случай. Когда я принимал участие в сохранности вещи, письменность во мне была лучше. Рука привыкла делать железную деталь, хотя не часто, не на такого попали. Специальность наладчик, но устроился нормально, больше сплю - работать надо по мере, за те же деньги, правда, спать тоже вредно: затекание органов. Одно удовольствие во сне, что может присниться, чего наружи никогда не дождешься от власти. Но приснился страшный сон: царицей мира будет труд! Из этого сна вышел с одним только словом (привести не могу). Разбирали вчера бытовое, на узко закрытом собрании. Обидно - поче-

му не пригласили. Тоже хочу знать, в каких сочетаниях живет друг с другом коллектив, потому что он мой. На душе было пусто, хотелось чего-нибудь поест взамен обиды.

Прочел статью: где ищет нобель какую-то премию. Думаю, что это опять тот же гоголь, только буква переменялась - сто с лишком лет абсолютной эпохи. Конечно, опять за границей, но теперь устроился у шведов (забыли Суворова). Ищет премию, никто не дает, кроме наших тунейдцев. Нашелся один длинноволосый, Салажонкин, но самому жрать нечего. Подрывает устои, которые не подрываются хоть лопни, с каким-то вместе с Андреем Жидом, продались фашистам, но заговор обреченных. Только не понял новую установку: раньше жиды называли сокращенно евреем. Неужели изменения, а я оказался посторонним, хотя читаю газеты, слушаю радио. Раньше еврей с фашизмом не состояли, у них было уничтожение, даже в войну с евреем ходил на задание: в тебе, говорю, уверенность, немцу не слашья - невыгодно для жизни. Но теперь еврей, говорят, стал фашист, а арап, наоборот, перешел в нашу веру: по-моему, достижение небольшое. Этот Солоницын вызывает специально реакцию, прямо из Москвы на реакции пишет жиду и через шведов посылает нашу тайну заводов. Одно непонятно: реактивная авиация влетает в Москву, столицу нашей родины, город-герой имени ордена Ленина, а где же спит зенитная батарея? И еще непонятно: зачем расстреливать население, напрягать после рабочего дня - дань дикости и невежеству. Расстрелить этого Солонухина по высшей статье, а жидов мы потерпим, - Боже мой, от них вреда немного, кроме пользы, это пустые разговоры. Еще одно предложение: водка должна стоять без делимости на число три: чтобы не пили втроем, пили врозь.

При чтении газеты на стенке, мимо прошла молодая, платье буквально ни до чего: отдался бы без звука. Я, собственно, всю жизнь без ума от блондинок, на этом умру. Одно слово: блонда хара! Это не по-нашему, это по-французски - вот язык женственности!

ПОЗОР НА ВСЮ ЕВРОПУ!

ПИСЬМО В СОВЕТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО: ПРОШУ ПУСТИТЬ НАЗАД ОБРАТНО

Попав по глупости в страну капитализма, европейский Париж, но всё гораздо слабее предварительных жалоб. Это разве Европа? Даже хуже, чем мы - объясню, почему.

Основной закон капитализма: кто не работает, все равно тоже ест, хотя бы мало. С голоду здесь никому не пропасть, да как же это так? Мы поголовно боролись за вредность, часть населения гуманно умерла своей естественной смертью от насильственного голода нашей страны, и это верно: победил закон социализма во взятой стране.

В метро Парижа лежит на лавочке, ночует под мостом, из горла пьет свою бормотуху, национальную по форме ее содержания, портянка западной моды, но сам алкаш родного вида, как будто не я. Местное название "кошмар", дамы воспитания везут под мост ему суп, но никогда не забрать в вырезыватель на желтой машине. Спрашивал: местный язык это слово никому не переводит, хмелеуборка не пришла еще в голову целой Европы. "Кошмар" принимает их суп в воскресенье, но даму очевидно отвергнет, а ей, может, хочется, среди ее скуки счастья.

Пьяного все уважают, просто даже противно, считают, это не страсть, а только временное засорение личности. Но на троих никогда не берут, и нету искренней дружбы, сложилась двадцать долгих лет у ворот магазина.

Водка, наоборот, гораздо лучше нашей, и кто хвалил нашу русскую, то чтобы нас не обидеть: похвалить больше нечего в нашей действительности. Гонят из малины и другой невинной ягоды до прозрачной слезы, но даже плакать забудешь родную калину. Если добился признания общества как алкоголик своего нетерпения, аптекарь подносит самый чистый продукт, за одну французскую копейку полстакана. А селедка все равно из Советов, далеко не уедешь. Я зачем сюда ехал? чтобы бегать за советской селедкой? Не знаю! Эх, капитализм, стоит тыщу лет, а не сделал ржавую селедку...

Что сказать о разврате? Как сообщал Маяковский из Парижа: кричали женщины ура и в воздух лифчики бросали - нет, такого не видел. Ожидая большую порнографию жизни, на самом деле нет. Женский человек проходит гордо мимо, не влияя задом, и на улице нигде не гремит легкая французская музыка советских композиторов. Часто видишь на виду населения, двое обнимаются нестранным поцелуем. Да у нас не дойдет до милиции, три пенсионерки сразу заключают примером строгой юности своей комсомолки, которая сама же отдавала поцелуй за твой стакан воды, мы читали. Здесь, увы, равнодушные каждой старушки, тогда зачем целоваться? Бабушки катают детей по садам Люксембурга и сами не против сорвать поцелуй за-

лежалости, в нашей действительности бабушка уже давно комсомолка двадцатых, и некому спеть Маше с Ваней про козлика. Поет один поэт, буквально дядя Степа - Маша с Ваней еще без очков, мама ходит с авоськой, папка с работы приезжает на бровях, тут и пригодится старинная бабушка, но - самое большое увы! - уничтожена как класс за некультурность. А дядя Степа что, он тебя все равно в свой верхний класс не научит, он глядит, чтоб ты сидел у себя и возникал, когда позволяют.

Классов в Европе давно уже нет. Флик, то есть наш милиционерский, подходит к тебе, улыбаясь в мусташ, даже если на тебе штаны с прорухой. А кто едет в черной машине, тебя не давит, сиреной не глушит, делает ручку: пешеход, проходи! И войдешь к нему в контору, ты не класс, а посетитель, тебе же большое мерси за спасибо. Классы остались исключительно в метро, но за класс тут приходится много платить. Нашим же классам, наоборот, еще допла-тит всенародно рабочий с крестьянкой.

Голых женщин нигде не видать, это нежная сказка, в рекламе одна обнаженная грудка, к которой завтра же привык, разврата в этом мало. Вместо разврата у них растет секс, что в переводе значит "шесть", у нас в организме никакой такой шестерки просто нету. Даже блядь безалкогольная, на работе не пьет, деньги просит сначала, по истечении чего все восторги упали. То ли дело у нас: после семи, когда закрыт магазин, распахнешь пальтецо, показав ей блестящее горлышко, все желания выполнит. Да просто наша душа не выносит, если женщину надо об этом просить: а ты меня сама догадайся!

Не скажу уже о том, какой увлекательный секс-жоп в нижней части организма у наших славных девушек, по сравнению здесь.

Винную бутылку тут никто не сдает, и в трудную минуту жизни не на что опохмелить свой черный день.

Черный цвет вспоминать при народе нельзя, может обидеться на всю Европу негр, надо звать африканыч и не отворачивать личико по мере невозможности от его шоколада. Какая же это, простите, Европа? У нас давно коминтерн: они нас уважать должны за то, что мы их терпим.

Нация тут у всех одна, включая упомянутого негра, но на свет всё же видно, и они добиваются равенства кожи. Одна надежда: медицина прогресса. А который еврей, никогда не узнаешь, буква "р" у всех хромая, как кремлевский мечтатель, слово "братство", например, то наша девушка скромности должна отвернуться. Но вино-

ват здесь во всем не еврей, как у нас, а испанец наряду с португальцем - и конечно, арап, но из-за культуры вам его не скажут.

Вообще не доверяйте язык иностранца: увидел слово "сортир", приняв за чистую монету в углу коридора, получился конфуз: французским, видимо, можно, но для нас только выход. Неприличного слова никогда не добьешься, даже если тебя посылают, но только так, что можно завтра напечатать в передовой статье газеты "Правда".

Но самое главное; здесь отсутствие равенства, к которому привыкли мы, в стране свободы. Взвод равнение направо, в цеху равняйся на маяк, хотя бы этот маяк продал вчера родную маму без закуски. Даже в руководстве совершенное равенство: вчера равнялись по кремлевской бородке, лежит в гробу мавзолея, диктуя всем подземными путями, сегодня, напротив, на усатого дядю. В Европе равенства еще не добились, ожидают наступления всего коммунизма, у нас давно уже кончился, даже дети смеются, а если спросишь на улице, то могут плюнуть слюной в остаточный глаз. В Европе каждый равен сам себе, и если ты ноль без ответственной палки, тебя никто не боится: как же из этого сделаешь равенство?

Чего не мог представить раньше: даже в Европе имеется погода климата с каждого неба. Погода есть пережиток социализма в сознании Бога и на западе быть никогда не должна! Вот когда к вам придет наше светлое будущее, дорогие товарищи, тогда я согласен слушать гром среди ясного неба Парижа. А пока - извиняюсь, пока иду кольцом больших бульваров и не хочу даже слышать в нашем городе дождь, в нашем городе снег. Требую срочно отменить погоду надо всем культурным западом. Это влияние близкого соседства, свет с востока, но прошу никогда не забыть: человек человеку друг и товарищ волк!

НЕ УКРАДИ!

ИНСТРУКЦИЯ БУДУЩЕМУ РЕБЕНКУ, СЫНУ МОЕЙ СЛУЧАЙНОСТИ

Если захотел игрушку детской техники, чужой равноправный ребенок играет, у тебя вождение: не укради. Проси временно, проверь свое чувство: а может, скоро охладись. Лучше привлечь для обмена ненужную собственность, оба хозяина получают новую вещь и процесс справедливости.

Если в соседней квартире лежит разменная мелочь в беспорядке соблазна: не укради! Это чужое, за него человек отдает каплю жизни.

Когда в пространстве улицы лежит в пыли государственный банковский знак - подыми. Но оглядись, не бродит ли где посторонний с опущенным взором. Это потерпевшая личность, и совесть не даст потом счастья за чужое съеденное горе. А вообще потеря есть народное добро, найди и пользуйся как представитель.

Гайка, крышка, блестящая деталь, труба, доска или винт, без охраны ввинченные в город на общественном месте - всегда твои, но не забудь соображение: если без этого трамвай соскочит с закругления рельсы, если свалится дом и убьет твою мать - то не надо. А если хлещет вода, это пусть: скорее сделают новое на такой видный случай.

Не трогай телефон-автомата и друзьям объясни: это опасно нашей жизни. Твой отец видел фильм, там навеки умерла полезная, толстая женщина, не было откуда вызвать помощь укола, кругом поломка автоматов по вине нарушителей.

У личного народа не укради, а у государства бери всегда и всё, что можешь: сколько раз увидишь, столько возьми, это наше. Опять соображай своей мыслью: государство хитро приставляет для ответа небольшую народную личность. Если дворник или сторож, его не подведи. Когда ответственность начальства, то сам Бог тебе велел, они всегда договорятся на акт расхода для нужд экономии. Торгового работника никогда не жалеи, он развернется, при нашей малости, какую украдем, это только закваска, на ней взойдет, как сдобная опара. Особенно нерусский народ, он не понимает разумное хватит: еврейчик, цыган, татарчонок, кавказская нация в кепке, не знаю северный народ эскимосок, врать не буду.

Где сам ответственным лицом за матерью, у себя не укради, в соседнем месте лучше. Конечно, можешь, но это целое занятие жизни, нам не по характеру следить ежедневно исправность баланса входящих. Вообще не советую должность начальства: это в нашем мире хуже честного вора.

Что можешь на службе государства съесть в себя или выпить на ход ноги, то это сделай: обратно никогда не отнимут и вообще упрека нет, поддержание жизни.

Украсть лучше много, чем мало: крупное всегда у народа в почете, мелкое содержит презрение жалости.

Не будь придурком честности, когда тебя не просят. От разделения труда уклонись, если можешь. Бюллетень недомогания у врача возьми всегда, дать обязан, организм в нашей жизни всегда ущемлен, пускай найдет больное место, медицина содержится нашей

копейкой. Когда сумел, то минуту поспи, а лучше час, а лучше день, вместо непрерывной работы, и это не кража: эксплуатация труда в одиннадцать раз выше получки зарплаты, еще останется за ними. Но на субботник всегда выйди первый: это политика, и даже лучший друг не одобрит, он явился, а ты пренебрег, как нерусский. Смирись, гордый человек (прочел в одной книге искусства), лучше потом прогуляй хоть три дня по неизвестной причине похмелья, которую все понимают, но только до седьмого раза повторения.

Но если ты залез в карман гражданина и пассажира, то последняя сволочь. Может, у него остаточная сумма заначки и нет возможности на пиво.

Не скажу ограбь, но и не ограбь не скажу также, при наличии друзей детства могут завлечь. Тогда выбирайте состоящих в местных органах власти: наружность толстая от объединения жизни, квартира имеет четыре замка. Все-таки лучше не ограбь, помни, это нам подстроено: государство специально тычет носом, чтоб не брали у него, чтобы взяли у ближнего. Хотя попадешься, то вынуждено дать на всю катушку.

Никогда не укради, если слабее тебя: это нехорошо.

Женщину лучше используй, в крайнем случае, по прямому назначению насилья. Никогда не отними украшение вещи, одежды или стоимость денег. Наоборот, по окончании отдай ей подарок за продукт удовольствия, однако если имела желание, тут полный расчет.

Какой материал или вещество лежит без присмотра, возьми и дома сохрани, пока взойдет она: звезда пленительного счастья. В государственном виде все равно пропадет и развеется ветром.

Военную технику не тронь, хотя бы валялась, крепи оборону страны, тебя же запросит о помощи в трудном случае катастрофы.

Неизвестную химию, лежит или в бутылках: не укради! Можешь обкушаться сам и семья ближних родственников. Также не укради золотое изделие государства или другой металл драгоценности: это высшая опасность политики, ее сердить не надо, ударит большим криминальным законом. У населения, наоборот, это самая легкая жалость пропажи: предмет второй роскоши.

В других случаях, кроме вышеперечисленных, можешь немного украсть для пользы семейства, оно есть ячейка прочности нашей страны, весь народ приворочивает, от мала до велика, от южных голых скал до северных морей, и мы не хуже.

И помни: Россия такая держава, что если ты сделаешь грех воровства, другой взамен тебя отдаст последние штаны напрасной

честности и будет дохнуть голодом перед лицом горы общественно-го хлеба, который все равно сгниет без достаточной пользы. Не смейся над таким, в нем, может, не глупость, а твое искупление. Как говорили старинные урки: пред народом виновен, перед Богом я чист. И это лишь благодаря арифметике разных характеров одной шестой части исторической суши.

II

появление автора в письменном виде

1

Я не выдержал и решил появиться в моем личном творчестве. Никто не может мне этого запретить, да, не может.

Письменность стала чистейший обман. Она пытается скрыть, что она письменность, что ее, значит, пишут. Она притворяется действием, она хочет впрыгнуть в нашу голову сама собой, через глаз, и там пританься картинкой из памяти. Письменность прячет в карман свою буквенность и выдвигает наперед свою строчность. Строчность роднит ее с телевизором. Каждый роман спит и видит себя на экране. Кто теперь читает буквы, кто видит слова, кто наслаждается их управлением? Все глотают страницы, пожирают абзацы и уже на кончиках ресниц превращают их в кадры.

Кина не будет, мои дорогие друзья!

Придя домой, письмо было получено. Придя домой, письмо быть полученным очень старалось. Оно хотело быть получено мной от меня самого, письменное этакое письмо, в небольшом письменном виде.

Придя домой, письмо получено не было.

Несколько минут находился во власти молчания.

Вдруг неожиданно в воздухе почувствовалось смутное беспокойство. Посмотрев в зеркало, я увидел в зеркале отражение своего вопросительного лица. На лице отражался вопрос моей жизни.

- Вот здорово! - вырвалось у меня восклицание.

Запустив руку под шляпу, я зачесал свой затылок. Это была моя привычка - чесать свой затылок, когда у меня возникал вопрос и когда ответ бывал затруднителен.

А вопрос возникал такой: как надо писать, как писать дальше. Запустив руку под шляпу, которой у меня нет - то есть шляпы, а рука пока что есть, пока что мне приветливо ее не оттыпали, я зачесал, как вы знаете, верхний затылок. Это была моя привычка, и я чесал свою привычку три года без малого. В привычке редели волосы и стирались грани между умственным трудом и физическим городом и деревней. Изредка я вынимал мою руку из привычки, чтобы начертить безмятежные рецепты для младшего возраста от всея педагогики нашей страны, чтоб вложить за экран героический дух, расписаться на ордере или повестке. Потом я взялся за перо двумя руками, чтобы продолжать делать письменность. Я взялся руками, но тут вышел стоп.

Тот, чьи буквы не влазят в печатный станок (а это так, что же делать, они у нас какие-то такие не такие), тот привык орудовать тем более пером. Я изучил перо насквозь, я знал его нажимы, росчерки, темные кляксы и блестящие стороны, зовущие впредь. Я знал, когда оно будет царапать бумагу, и я миновал, чтоб царапать бумагу. Когда же оно разгонялось от гладкости - от гладкости кончались чернила в перо.

Но теперь повсеместно перо переделалось. Оно перестало быть чернильным, заостренным, оно в каждой третьей держащей руке заменилось на шарик. А шарик - известное дело - он круглый. Он не стоит, а стойкость дело нужное в деле пера. И вообще, в нем есть что-то собачье, он сучьей породы, тогда как в прежнем перо было слышно крыло.

Приходилось заново учить круглый шарик, не умея нажима, чтоб нормально писать безо всяких кино.

Я начал, и шарик покатился псу под хвост:

"От топота ног стоял шум и летела пыль..."

Какой шум? Зачем летела? Ах, я хотел что-то такое, что-то эдакое! чтобы мысль летела. Я не хотел полета пыли, так как не было топота, не было ног; не было ног - не стоял шум, шум не стоял - не летела и пыль, которая летает от действия шума, вернее, действия топота, а точнее - ноги. Всё наврал проклятый шарик. Писать надо было не так.

Писать надо так, чтоб в квартире было тесно, а мыслям просторно. Писать надо так, чтобы слов было мало, а листов было много. Писать надо экономически. Один писатель советовал мне пи-

сать просто: взошло солнце, и запели птички. Он так просто и писал, хорошо писал, жаль, что несколько повредился в уме.

Я затопил печку. В печке царила атмосфера взаимности. Я оглянулся. Жизнь проходила в обстановке причинности. Я сел за стол и писал и глядел на себя, на письменного, в малое зеркальце. В зеркальце я отражался, что пишу и гляжу в зеркальце. Везде у меня отражался вопрос. Ответ не отражался нигде. Писать надо так, писал я, глядя в зеркальце, чтобы вопросам было тесно, а ответам не было мучительно больно. Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать. Но хорошо писать бы так, чтобы не очень навсегда пострадать и вернуться.

Писать надо так - но писать надо не так.

2

Кто диктовал мне, письменному, кто диктовал мне из малого зеркальца? Литература желает сгустить следы пребывания на земле человека. Она рвется дать путеводитель по вселенной - от Москвы до искривления мира и взад. На том ее и ловят, родимую, на том и улавливают. Она старается усилить значение каждого шага, - а шаг наш значения имеет немного: не более метра в длину по земле. Она соединяет вчерашний обед и сегодняшний грех на соседних абзацах - и меж них не пролагает расстояния духа. На том ее и ловят и тащат в свое мозговое кино, ибо это кино есть защита от духа.

С полным весельем я заявляю: кина не будет, мои дорогие советские друзья! Кина - которого я очень люблю, и друзья, - про которых я рад, чтоб читали меня повсеместно внутри рубежей; но меня повсеместно никак, не получится, ведь станок гутенбергов, как заметил поэт, для нас для всех не годится, а других не дозволено.

Кина не будет, будет слово, как всегда было слово - и это просто даже несколько странно, что забывают. Сперва было слово, а после его написали - ведь так? Писать надо просто, вынимая слова из алфавита, которые все уже есть до единого.

Писать надо так, чтобы сразу написал и, тепленькое, едва успев запятые, сдал в историю. Писать всего полезнее вообще на скрижалях. Скрижали выдаются в литфонде, по два кило в месяц на душу писателей. Души, конечно, сверху не видать и даже алгеброй - если разъять - не поверить. Но у каждой души из души растет нос, как известно у Гоголя. Так что чаще принимают, для удобств-

ва статистики: мол, по два кило на нос, за умеренный рубль. В общей продаже скрижали отсутствуют: либо слишком толстые, а то просто дрянь, папиросные и вообще неформат. На таких в историю не войдешь.

Правда, писать на скрижалях не просто. У них, проклятых, качество - видимо, финские: что написано пером, того не вырубишь топором. Но все равно, поворачивать поздно, вхожу в историю. Цветы, кругом цветы - тридцать пять тыщ одних цветов.

Цветы - это дети нашей жизни, они приходят к нам пахнуть.

3

На одном конце города есть Гулярная улица. По ней гулял Николай Васильевич в своей критической шинели, из которой все вышли, но в которуюходишь, озираясь, как в дом. На другом конце, напротив, есть Трамвайный проспект. По нём никто не гулял, по нём никто и трамваем не ездил - там трамвая не сделано. Но везде, куда ни кинешь взглядом, на нем видны следы прогрессивного человечества. "Идя в наш кинотеатр с цветами, вы можете оставить их у администратора, который поставит букет в вазу с водой и вручит его вам после сеанса ничуть не увядшим." Какая огромная, какая наша, какая забота о человеке! - Правда,самого прогрессивного не видеть, одни следы. Они ведут в будущее. Будущее начинается сегодня. Завтра оно уже будет, оно грядет к завтраку. Все человечество обожает кушать завтрак. От хлеба пахнет сытностью, от масла оптимизмом. Это аромат грядущего. Тоска от лука, съеденного на ночь, после завтрака переваривается, не доходя до автобуса. В автобусе все везут завтрак на рабочее место, даже два - так повелось среди класса трудящихся: один, поменьше, в животе, безмянно, а другой, большой, под мышкой, на виду, напоказ.

Особенно вез завтрак один пассажир. Он весь обчитал его за время дороги. Следы времени с обертки перешли на лицо. Рот у него был закован в железные зубы, а лицо было особое лицо государственной важности. Чтобы завести себе такое лицо на лице, надо многие лета занимать себя чем-то вверху, у кормила - чем они там занимаются? Но как потом снова дойти, чтобы ездить автобусом, вот что неясно. После бритья он освежал себя какой-то туалетной водой парфюмерной торговли, от которой несло сыростью, мокрицами, глубоким духом влажного мороженого мяса. Хва-

тит терпеть насмешек и пренебрежения, - говорил этот запах с оттенком угрозы. Хватит терпеть, пора назад к кормилу.

В природе была погода.

Висел плакат: "Хороший человек украшает природу". Я оглянулся. Украшая, он шагал. Он шагал через улицу, не считаясь с опасностью, не страшаясь усталости. Все остальные страшились усталости, кроме него, хорошего человека.

Уставя пальцем в живот, жена удерживала пьяного на тротуаре от падения. Обмякнув, он качался на этом жестком, ненавистном, указующем пальце, как привязанный, напрягаясь, чтобы оторваться и грудью упасть на мягкую, привычную землю, чтоб украсить собою природу - и не мог.

У памятника, приданного площади в награду за историю, как раз сегодня был день рождения. К нему пришли поговорить о своих делах пионеры. Памятник слушал их медным лицом, напряженно, и всё указывал вперед, всё вперед, на газетные стенды.

В газете были две печатные статьи, обращенные руководством к самому себе с укоризной: "Работать на виду у масс" и "Быть человеком". На виду у масс человеком работал лишь памятник. Это было его загробное поручение.

Бежала женщина, у которой свои законы. Подберет на себя всё красиво, всё в тон: сумочку, туфли, перчатки, чулочки, - а сама торчит из них, другая-другая. Она торчит, дожидается, пока ее вынут, как семечко. Вынуть трудно, но можно, надо только уметь. Я притворился, что влюблен, вы притворились, что стыдливы, как сказал поэт. В общем, можно.

Памятник грустно загребал рукой к женщине, словно собирался доплыть к ней по воздуху, но потом передумал. Он хотел равную, медную бабу со стажем. Хотел отгрохать с ней набат на всю ночьеньку. Памятник помнил: ему обещали. Ложись на горы алтайские, берись за колокола китайские - или как там записано в решениях съезда?

Вышло вечером слабое солнце, и жить стало лучше, жить стало светлее.

На руке у постового показалась наколка. Она звала к диалектике. По ней было видно, что он из преступных переквалифицировался в квартальные. И это есть отрицание отрицания, это смерть зерна и жизнь зерна сразу. В общем, хлебное дело. Надо рассказать об этом зерну.

Военнослужащие и дети их семейств гуляли по бульвару, заходили в зоопарк. Звери развлекались от своей трудной жизни, на-

блюдая старших, сознательных братьев и дрессируя их назад в духе прошлого. Звери знали: идет взаимная жизнь, скоро ужин. Люди смотрели свысока: они открыли дверь в будущее. Они молчали, что открыли ее ногой.

У входа в зоопарк лежат опилки с дезинфекцией для нашей ноги, чтобы демократия с зоологией не могли перепутаться. Входя, оставляли болезнь на опилках. Отряхали звериные инстинкты, возвращаясь обратно. Отирали след свершений с гражданской походки, направленной в сердце животного мира.

Зоопарк готовится к юбилею. Состоится большое народное гулянье на тему: сто лет в клетке. Подумать только, какой срок! Ни бык, ни лев и ни орел - да что там говорить! - даже революция не принесла им избавленья. Они должны свершить ее сами, свою, звериную революцию - но не желают.

Лучше жить стоя, чем умереть на коленях. Сидя жить лучше, а еще лучше лечь. И это будет пассивное сопротивление. В дружном порыве лежал зоопарк. Он глядел на меня - и не видел меня: я был в письменном виде. В письменном, роскошном по сравнению с жизнью, без пота, без пуза, без дыха, без храпа, без того натяжения в причинных местах, что мешает видеть дальше, чем собственный так называемый нос. Я был в белой рубашке, хрустящей, как рубль - трудовой сберегательный рубль из сберкассы, вложенный мятым, возвращенный обновленным, что и составляет государственный процент благодарности. Но меня в этом письменном виде заметить нельзя: отражаю сознание. Я же, сам, могу выглядывать что захочу - на уровне письменности, знаете ли, многое виднее.

4

Вот, например, прорвалось: ни бык, ни лев и ни орел - и это совершенно не напрасно прорвалось.

Это пишется полной заменой по животному Брему известного пения, когда все встают. Ибо, во-первых, бык прекрасно замешает тут, кого замешает. То есть не то чтобы бык это Бог, несмотря на фамильность, в одной только букве, а вторая разнится случайно на письме. Это лишь в могучем и великом языке, но в британцах, возьмите, - то созвучность намного другая: "Год" - "дог", то есть с кобелем, прости меня, Всеблагий; впрочем, зверь тоже ярый, когда он восхочет (или как там пишут по Донам - если вскочет? если не захочет, то не вскочит? - надо бы спросить того, в станице, где он требует полезно не пускать других к перьям, что-

бы не могли разобрать в сучьих тонкостях вместо него). Но если вспять повернуть, в гордый Рим, то и снова появляется животное бык, на пяти своих ногах в латинской фразе, где ему дозволено менее бога, - то есть для божественной пятой ноги все открыто, не то что для бычачьей. Конечно, бог это был ненастоящий, несто́ящий; млекопитающий, можно сказать, это был всего бог. Но и в данном, освободительном случае мира, довольно, право, такого, малого, вождя по жмыху и жвачке, приравненного к бычьему классу трудящихся - на одной трудились ниве, молочные братья.

А лев - он царь, он безусловный равноценный перенос туда отсюда, по всем легендам и басням обоих народов: нашего, демократического, и, значит, их, ветеринарного, или как его там. Ибо не только у людей говорят про льва царь, но и соответственно в баснях звериных крылопов, ежели хотят сказать: верховный подлый лев - но боятся, то и намекают через нас, что, мол, вся самодержец или секретарь эпидемии всего человечества. Басни ходят сквозь опилки, не страшась дезинфекций.

Последнее же ясно и в ясности просто. Орел - то есть в нашем вставаньи герой. Они летают в хищном небе государственным лётотом и садятся на свои плодородные яйца исключительно в горных районах страны.

5

Вы просите песен? Их есть у меня - как сообщала в романсе семиструнная бабушка. Не пора ли засесть за письменный стол? Роман о более бережливом отношении к видам дубов. Основные мотивы романа: лес, подлесок, чапыга, болото. В лесах развелась живописность: воронко, кречет, кочет.

К письменному столу надо в очередь, как в бакалею: "Я отойду на полминуты, а вы скажите, чтоб меня не возражали".

Писать надо так, чтобы писать.

Писать надо письменно - и немного печатно.

Книга начинается, здравствуйте: фальц; книга продолжается, пожалуйста - шумц. Я абсолютный противник сторонников.

Нет, я не прошу свободу слова - мне, напротив, не надо, кроме того, у меня уже, кажется, есть. Но я бы хотел, вместо этого, хотя свободу буквы. Это сугубо специальный вопрос, не все знают: на письме нужна буква. Букв становится все меньше. Не говорю про опасную ижицу или фиту, нет, таких надо было убрать,

они мешали лучшей жизни, но вот, обратите внимание: Ё. Очень перспективная буква, много лучше доносит. Открой любую книгу - ее уже нет, то есть она в скрытом виде, в подтексте. Конечно, там ей гораздо свободнее чувствовать, и даже большой артистизм догадаться. Но я просил бы для себя эту скромную букву - даже согласен, чтоб вместо аванса. За что лишили нас ее? Конечно, это экономически, всё надо экономически. Я понимаю, гутенберг должен вращаться с максимальной точки зрения - но машинка? В моей машинке я напрасно ишу десять лет букву Ё. Не хватает, чтоб ее не оказалось и в ручке, а это просто, возьмут и вынут на заводе, им что. Могут даже вынуть из мясной твоей руки при рождении в жизнь, и тогда уже обратно не вставишь никакой эволюцией.

А всего-то незаметно приставить две точки - и она возвращается. Точки, поставленные над ё - сколько смысла! При помощи точки мы вернем свободу буквы, а возможно, и слова, которая, правда, у нас уже есть. Например, многоточие - что за возможность! Заменяет какие угодно слова.

В этом отношении шарик полезен: он умеет ставить точку.

Шарик, шарик! Ко мне!

Слушается.

"В природе была погода". Ничего лучше этого я не писал. Какая простота! Какая сочность! Это еще ждет своих исследователей. И главное, заметьте: написано шариком.

6

Точка. Много точек. Нет, не торопись стяжать дары печатности. Живородящий гений, знаете, ничем не удержать.

А.ХВОСТЕНКО

ДВА СОНЕТА ДЛЯ Р.Г.

1

СФИНКС БЕЛЬВЕДЕРА

О лев! Твой взор был темен и глубок
Как скрип крыла по воздуху ночному
Девичья грудь вздымалась по-иному
Когда смотрел я в глаз твоих поток

Зачем остыл и не бурлит восток
Какому умыслу он уподоблен злему?
Зверь-камень мертв, но дева-лев живому
Подвластна времени. Я слышать его мог

Оно лилось и наполняло глину
Души моей твоим, о лев, огнем
Крылатой влагой дева пела в нем

Гимн радости прохлады бедуину
Движения, а тела водоем
Изображал пленительную спину

2

На грани вымысла и умысла, полуживой
Бегущему подверженный влеченьем
Тревогой плыть потока продолженьем
Быть вероятности прозрачною канвой

Я так хотел быть вытканым тобой
Так сладостно руки твоей пареньем
Заворожен, но времени кипеньем
Был увлечен я властно под конвой

Просторных чисел рвущихся минут
Стоящих на часах вокруг границы
Моей любви. О труд соединиться!

О смысл символов, что тень мою пройдут
Сгустивши тьму, в стремлении пролиться
Тебе сверкающей в сверкающий сосуд.

июнь 77
Вена

Виктор ТУПИЦЫН

МЕТАМОРФОЗЫ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

Если попытаться говорить о Я в третьем лице, как это часто делают дети (я смеется, я скорбит, я рвет на себе, то есть на я, волосы), - то театральность позы связана не столько с грамматическим эпатажем, сколько с появлением некоего просцениума в тесном интервале Я-миф, Я-личность, - когда я начинает комментировать я подобно античному хору.

На языке христианской поэтики такого рода просцениум принимает иные очертания, мгновение оборачивается пропастью (пропасть меж чашею и устами).

В комедии дель арте я пускается на хитрость, манипулируя спектром масок, норовя прорваться в третьем лице то сквозь бубнеж Доктора, то из-под косноязычия Пульчинеллы.

Так, не усидев между двух стульев, я в третьем лице соскальзывает из мифа в миф или в прамиф.

Исходя из последнего, а также ради терминологической цельности, имеет смысл переименовать компоненту Я-личность в Я - то, о чем миф, или в Я-прамиф.

Мифологизируясь от кончиков ногтей до корней волос, я становится мелосом я - от эолийского до дорийского, где я - то хор, то монодически звучащий ямб, в зависимости от диалекта я.

Герой повести Пиранделло "Покойный Маттиа Паскаль" говорит: "Когда ко мне обращаются за советом либо спрашивают о чем-то серьезном или важном, я всегда отвечаю одно и то же: меня зовут Маттиа Паскаль".

Вещая, Я-миф вопиет в пустыне; внимая, миф-Я затыкает уши. Но случаются исключения. Слушая музыку, вдруг ловишь себя на том, что и впрямь - слушаешь. И отмечая удачную музыкальную фразу,

говоришь себе: "Что ж... это место у я, действительно, звучит недурно".

Либо посреди чтения замечаешь, что и вправду - читаешь. И тогда вместо "ай, да Пушкин" произносишь "ай, да Я!", имея в виду то самое я, чей слог - уступчивый и гибкий, живой Протей... и так далее вдоль по Вяземскому. И всё это метаморфозы третьего лица. Так, каплю за каплей черная из мифа, наше третье лицо путешествует инкогнито по обратному времени мифологического бытия

- в сопровождении
всенеременнейшего Овидия
в виде я.

Зазеркальное, в воде отраженное я - ты, печальный дар нарциссизма, - суть второе лицо или второе имя мифа. Миф о том, что миф я порождает миф ты из ребра своего - скорее всего, поэтический зигзаг, сопутствовавший смене этносов. Погружаясь в прамиф, мы припадаем к источнику ты, к воде²².

И вот начинается игра певучих чисел, и миф имен строит себе дом мы, - миф этнос. Согласно Л.Н.Гумилеву, этнос - не состояние, а процесс, поэтому этногенез я-ты-мы подразделяется на стадии и на фазы от реликтовости до "обскурации".

С точки зрения этнопсихологии метаморфозы третьего лица могут быть квалифицированы как синдром, точнее - врожденный синдром.

Третье лицо - не просто ракурс я, оно - храм апокрифического мифотворчества или демифологизации. На определенной стадии этногенеза возникает коллизия, ведущая к появлению новых понятий: творчество, искусство, культура. И если еще раз вернуться к реликтовым формам этномифа, то происхождение подобных понятий можно проследить, не выходя за пределы жанра.

Итак, - в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. (Следовательно, Ангел-слово равно жизнь равно свет человеков.) Адам и Ева суть первые реликтовые имена. Адам - называтель и пастырь светлых слов, обитателей небесного bestiaria.

На этой стадии соблазн языка еще не казался столь актуальным, хотя сам язык в образе древа познания молчаливо произрастал поодаль, уходя корнями в самую толщу слова.

И вот - первая коллизия: от реликтового блаженства, от света, который жизнь, миф я---ты уходит в ночь этногенеза. Этногенез в данном случае - синоним познания добра и зла, добро - синоним слова, зло - синоним бессловесного языка. Миф, изгнанный из мифа, вступает в новую фазу, в фазу познания или профанации самого себя. Роковая роль катализатора этногенеза принадлежит, конечно, Змию, к которому и восходит бесконечная цепь метаморфоз третьего лица.

²² Точно так же мы склонны предпочесть всемирному потоку - всемирный листопад, - нисколько, впрочем, не настаивая на нашей версии и считая, что каждый имеет право на собственное сопереживание событий. Но не стоит топить и автора, если ему нравится быть занесенным листьями. Кроме того, приблизительный смысл нашего замечания обещает обнаружиться позднее, когда мы коснемся ствола дерева языка (В.Т.).

Итак, отшатнувшись от Слова, которое Бог, на подмостки мифа выходит праязык, не светлый, но смертный. Не вечнозеленый, но подвластный ветрам и фатальностям листопадов. Мелос сопутствует фазам этногенеза, истаявая как снег более или менее одновременно с гибелью соответствующего этномифа.

Растекаясь по древу, язык дробится на многие дробы ветвей его, листы его, - на мелкие величины премудростей его. В нем множество достоинств, за исключением одного: в нем нет Слова.

Любой стадии этногенеза свойственны порывы ностальгического ветра, особенно губительные в межфазовый период от расцвета до обскурации. Ностальгия Мифа по реликтовому детству есть, в сущности, неосознанная тоска языка по своей ангельской изначальности - по Слову.

Подобного рода ностальгия и является питательной средой любого творчества, ибо все художественные формы эволюционируют в лоне языка или метаязыка, включающего в себя и плоть мелоса, и пластику, и изобразительность. И вот, движимый ностальгическими порывами, этномиф словоподражает. Искусство, как феномен творческой стихии, восходит к тому же самому подражанию, констатируя не слово, но символ; не прототип, но образ.

Соипостасное Богу, Слово определяет Бога: "Я есмь Сущий". Иначе говоря, наряду со всеми реликтовыми именами. Слово есть фенотипический эквивалент истины. И за отсутствием дистанции между словом и его сущностным прототипом - некуда было внедриться искусству, ни в виде образа, ни в образе символа. Так было в начале.

Но с первых же шагов этногенеза картина меняется. Происходит нечто - вроде семантического разбегания галактик. Язык уже не ведает, что творит, его амбиции все более и более ложны, его связь с внятностью сущего - все призрачнее. Подобный семантический синдром и является первопричиной искусства.

В силу недостижимости ностальгируемого идеала искусство всегда несет на себе печать самонеудовлетворенности, сомнения в самом себе. "Из заветного фиала в эти строки пролита, но, увы, не красота, - только муки идеала" (И. Анненский).

Заполняя трещину между языком и Словом, искусство постепенно приобретает роль связующего звена, роль вечного третьего в частной жизни двух. Уподобляясь Шиве, одной стрелой тапаса разрушившего три воздушных града, оно создает иллюзию точного попадания в незримую мишень. И ежели мнится, что "попал" или "близко к тому", - мы говорим: "красиво". Но когда мираж лучника ветшает, то китайцы изобретают порох, а европейцы палят картечью, - и вот уже фейерверк образности компенсирует дефицит веры в успех единичного выстрела.

У Набокова есть созвучная мысль ("Дар", стр. 25): "Что же поуждает меня слагать стихи... если все равно пишу зря, промахиваясь словесно или же убивая и барса и лань разрывной пулей "верного" эпитета? Но не будем отчаиваться. Он говорит, что я настоящий поэт, - значит, стоило выходить на охоту."

Вторая часть фразы не может не поразить нас своей вкрадчивой торжественностью, ибо в набоковском "Он" мы опять узнаём знакомые черты третьего лица.

Приближаясь к зрелости, искусство начинает созерцать в себе некоторую двойственность. С одной стороны, повинувшись ностальгическому императиву, оно повернуто глазами назад; с другой стороны, будучи одним из авангардов познания, оно летит впереди этногенеза, как музыка впереди духового оркестра. Следовательно, искусству присущи два пафоса: пафос профанации и пафос мифотворчества. И вот, наряду с ориентированным пространством языка возникает понятие ориентированного времени: обратное языковое время и прямое языковое время.

В работе М.М.Бахтина "Формы времени и хронотопа в романе" анализируются хронотопические ценности всех калибров, но к числу самых существенных автор относит "хронотоп встречи" и "хронотоп дороги". Попробуем придать этим понятиям этнопсихологическую окраску.

Приходом мессии мы называем ту экстраординарную ситуацию этногенеза, когда Слово является заблудившемуся мифу во плоти языка. Во-первых, оно примирительно объявляет единственной надмифологической ценностью - любовь символа к своему подлиннику, переводя языческий пафос ностальгии в ранг духовной категории. Во-вторых, оно само подвергает себя испытанию этногенезом. Умирая, Слово воскресает в самом себе. Прямая замыкается в круг. И в этом - есть радужный завет Слова языку, обещание того, что этногенез завершится там же, откуда он начал свой бег.

С этих пор профанация и мифотворчество становятся как бы соприродными, различаясь всего лишь ориентацией ностальгического дара. Неважно, что первый из пафосов тяготеет к прошлому, а второй - к будущему: на круге завета дельта реки встречается с ее истоком.

Невзирая на то, что хронотоп встречи (явление мессии) порождает новый хронологический полюс на круге завета (хронотоп дороги), - имеет смысл присоединить к числу двух основных хронотопов - хронотоп ностальгического направления. Следовательно, если к искусству и применим какой-либо оценочный критерий, - он, безусловно, должен учитывать такой хронотипический объем как "степень дальности" ностальгического путешествия. Однако и этот подход не свободен от амбиций чистого опыта.

Понятно, что хронотоп дороги является чисто метрическим, то есть - пространственно-ситуативным. Хронотоп встречи, как и хронотоп, постулированный выше, - электризует "дорогу" зарядом эмоционально-ценностной интенсивности. А какой из двух последних считать решающим - это уже вопрос вероисповедания.

Наше третье лицо дожидается аудиенции. Но как прикажете доложить, если имя его длиннее, чем список кораблей, если оно дольше, чем всегда, и дальше, чем везде? От Луция-осла до племянника Рамо, от хромого беса у Лесажа до Лепорелло, от Лиса китайской мистики до "Черепла" африканского локального фольклора, от хтонических божеств полуоккультных мифов до дельфийского оракула и фиванского сфинкса, от неоплатонического демиурга - Воланда до Мелькиадеса в "Сто лет одиночества". Ведь если "он говорит, что я (то есть миф-я) настоящий поэт (то есть творчество), - значит, стоило выходить на охоту (то есть познание)".

Существует поверье, распространенное среди ученых, что лучший способ отделаться от наваждения - это придумать для него термин. Так вот, пусть наше третье лицо, наш извечный суфлер, из двусмысленного "он" перейдет, наконец, в чин "хронотопа третьего лица".

Из мифа в миф - как из леса в лес. И ностальгические центры мигрируют, переселяясь из давным-давно - в давно, из давно - в недавно, и так далее, вплоть до владений личного опыта. Художник фазы расцвета нередко апеллирует к персональной памяти, то есть к мифу-я, - либо профанируя его, либо доводя до кондиции псевдо-реликта. Обычно такого художника именуют true artist (подлинный художник), в противовес его антиподу - киклику. Киклический художник не внемлет мифу-я, его сфера - это совокупность мифологических клише коллективной памяти, иначе говоря - "киклов".

"Кикликов стих ненавижу" и "мутную воду пить не хочу из ручья, где ее черпают все", - писал Каллимах, медный всадник александрийской поэзии.

Но коль скоро Пегас - жеребец ностальгической масти, то стоит ли вообще говорить о наездниках.

Эмилия ДИКИНСОН (1830-1886)

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Эготическая форма стихотворного мышления Э.Д. отразилась в графическом оформлении ее стихов. Своеобразие заключается в подчеркивании с помощью заглавных букв и частых тире акцентов информативного потока стихотворения. Некоторые редакторы ее сборников (Эдмунд Вильсон) опускают и заглавные буквы, и тире, заменяя их орфографической системой, делающей стихотворение "удобоваримым", хотя бы приблизительно "повествовательным", хоть в той или иной мере похожим на стихотворение, доступное их академическому интеллекту. Такие стихи оказываются искаженными и далекими в своем содержании от оригинала. У меня под рукой не оказалось - в случае двух из публикуемых стихотворений - оригинальных вариантов графической записи. Поэтому и в переводе этих стихотворений я отказался от использования заглавных букв и характерных для Э.Д. тире. Можно только надеяться, что мне удалось не утратить в переводе отпечатка интеллектуального напора, характерного для лучших стихов Э.Д..

Г. Худяков
октябрь 1978
Нью-Йорк

:: :: ::

У Неудачников на уме
Успех и Успех и Успех -
Для насидевшихся впроголодь
Нектара вкус, не для всех

И ни один из в Багровом наряде -
Вывавших Победу сегодня -

Не способен на определение ее,
Подвластное Поверженному - сходное

Хотя бы на йоту - в ушах
- Умирающему - которого
Отдаленное Эхо триумфа
Разрешается первородово

:: :: ::

Пичужка, не зная, не замечая -
Скок-поскок по Дорожке
Цап-Царап Червячка, и в рот
Не обронив ни крошки

Затем из Лепестка под боком
Запила его Росинкой.
Шарахнувшись вдруг от Жука
Переползавшего через Тропинку

Повела глазенками, вздрогнув
Прозондировав всю Округу -
Испуганные Бусинки, да и только
Повела головкой упрого

Как это делается по тревоге, - "Глупышка!" -
И на ладони ей Крошку...
Та же, беззвучно всплеснув руками
Отправилась к себе в Сторожку

Беззвучней Весел дружных на воду
Серебряную, без потрав
Беззвучней Бабочек, с Берегов Пополудни
Срывающихся вплавь

:: :: ::

Душа веселится в своем Кругу -
Дверь на Ключ
В залу Избранников божественных
- Не канючь

Невозмутимая - "хм, Колесницы... кто бы?.."
У Ворот своих
Невозмутимая: да хотя бы сам черт с рогами
На своих двоих

Небезызвестная: изо всего окрест
Взор в одно
И: Створки раковины сердечной
Заодно

"ЗМИЙ"!..

Фф-у, напугалась, дьявол, чуть
Не наступила уж!..
Поди-ка разбери-ка... жуть
Гадюка или уж

Вот змий! на самый бы на хвост
Дела! Ну, надо ж!.. Страх!..
Черт, что на ржавый (было!) гвоздь
"Гвоздь"! Чтоб тебя, брат, прах

Всё по-влажней да по-сырей
Ему бы. Как тогда
С утра весь день на пустыре
То в "салки", то лапта

На травке, в солнечном кружке
Как если б кнутик чей
На одного, чур!.. Ведь в руке
Уж было был... Зло-дей!

Со многими из Божьих сих
Запанибрата я
Монетой той же мне на псих
Мой - эта: братия

Когда ж нос к носу ты вон с тем
В компании ль, одна
Мороз по коже... До костей
Как речку - лед. До дна

:: :: ::

Мертва за Красоту, но только
Устроилась в кубу -
Того, за Правду мертв кто был
Со мной в двойном Гробу

Вопрос чуть слышный "Ты за что?"
В ответ: За красоту
А я - за правду; двое нас
Так, видно, на роду

Сроднившись, проболтали Ночь
Пока за Болтовней
- Тлен? Плесень? Мох? не по губам
С: табличкой именной

Вне всякого сомнения -
Счастливому Цветку -
Мороз срубает Голову
Как будто на току
Убийца выскользнул - и - вновь
Восстав, Светило с Вышки
Вызванивает новый День
Одобренный Всевышним

× × ×

Поприутихло по утрам
Орешник закаштанел
Румян шиповник сям, то там
На лысину наставил

Клен!.. Вырядился-то!.. Мечта!
Лужок!.. скажи на милость
Хм, я-то чем им не чета
И - тоже прифрантилась

Перевел с английского
Генрих Худяков

Я-ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ ДНОМ

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

14 февраля 1970 года я получил странное письмо. Заведующий сектором фельетонов газеты "Вечерняя Москва" А.Руссовский писал: "Александр Давидович! Мне хотелось бы встретиться с Вами и побеседовать по некоторым вопросам..."

Меня удивило и то, что ко мне обращается фельетонист (я в этом жанре никогда не работал), и сама форма обращения, без общепринятого "уважаемый". Однако почему-то в голову не пришло, что это и есть возмездие за все мои грехи - выставки, квартиру-музей, новоселье-вернисаж и передачу за границу статьи о художниках.

С легкой душой отправляюсь в редакцию "Вечерней Москвы". Руссовский, средних лет упитанный товарищ, с наигранным радушием здоровается со мной:

- Заходите, заходите. Сейчас мы начнем.

Смотрю, в углу за столиком пристроилась стенографистка, - но все равно ни о чем не догадываюсь. И лишь когда, пробежав глазами несколько лежащих перед ним бумаг, Руссовский заговаривает, я понимаю, что вот оно, началось! Три года торопился, собирал коллекцию, ждал, что грянет гром - и он грянул! этим пасмурным февральским днем.

Я много рассказывал о почти трехчасовом randevu в "Вечерке", и вскоре наша с Руссовским "дружеская" беседа попала ко мне в виде "материалов Самиздата". Все там было изложено так точно, что подробней мне сейчас и не вспомнить. Поэтому привожу самиздатовский текст.

РУССОВСКИЙ: У меня на вас лежит материал. Я, как заведующий, должен проверить факты. Поэтому и решил с вами поговорить. Я задаю некоторые щепетильные вопросы; если не захотите, можете не отвечать.

ГЛЕЗЕР: Мне нечего скрывать ни в личной жизни, ни в общественной деятельности. Я готов откровенно разговаривать.

© - Molden Verlag, Wien

Р. У вас было три жены?

Г. Да.

Р. Вы устраивали три выставки?

Г. Не три, а семь и даже больше.

Р. Как так?

Г. К примеру, выставка грузинской керамики и чеканки в Музее искусств народов Востока.

Р (обрывает Глезера). Меня не такие выставки интересуют!

Г. А какие?

Р. Выставку на Шоссе Энтузиастов в клубе "Дружба" организовывали?

Г. Да.

Р. На этой выставке, кстати, наших дружинников "советскими хунвейбинами" называли?

Г. Напомните, при каких обстоятельствах. Прошло уже три года.

Р. Это было, когда они хотели вынести работы из клуба "Дружба". Вы называли их хунвейбинами и сказали, что об этом напишет вся мировая печать. Откуда такая осведомленность?

Г. Дружинники и секретарь парторганизации завода, некая Злата Владимировна, находились в кабинете директора клуба. А художники с картинами сидели в соседней комнате. Один из дружинников воинственно заявил: "Раз они не хотят уходить, то мы сейчас пойдем, картины сломаем и выкинем на улицу". Тут я и вмешался: "Что ж, Злата Владимировна, если вы хотите, чтоб вся мировая печать писала о бесчинствах советских хунвейбинов, то благословите этот акт". И она, конечно, остановила их, ибо каждому дураку понятно, что если в первый день были представители зарубежной прессы, то о "сломаных" картинах, валяющихся на снегу, они напишут! По-моему, здесь я действовал разумно. И вообще, я говорил в райкоме партии, чтобы выставку не закрывали. Шум получается тогда, когда выставки закрывают. Если бы их не закрывали, не было бы и шума.

Р. Ну хорошо. Скажите, как организовывалась выставка в Тбилиси?

Г. По предложению Союза художников Грузии. И даже был выпущен каталог.

Р. Ничего они не выпускали.

Г. Да этот каталог есть у меня, я могу вам его показать!

Р. Это вы сами напечатали.

Г. Простите, но вы работаете в печати и знаете, что без цензуры ничего опубликовать нельзя, тем более с грифом "Союз Художников Грузии".

Р. Ну, хорошо. А выставка в Институте мировой экономики?

Г. К этой выставке я почти не имею отношения. Просто некоторые художники взяли у меня из коллекции для нее свои работы.

Р. Да, но у вас были представители месткома института?

Г. Они у меня были: согласитесь, что проще поехать к одному человеку и из тридцати художников выбрать пять, чем ездить ко всем тридцати. Так что, как видите, я облегчаю работу советским людям. А как трювили Фалька и Неизвестного, а потом устроили выставку Фалька и повесили его картины в Третьяковской галерее, а Неизвестный принял участие в конкурсе в честь арабо-советской дружбы и завоевал там Гран при. Времена меняются, из всех худож-

ников, представленных у меня, только человек пять не выставались на официальных выставках.

Р. Но именно этих вы показали на Шоссе Энтузиастов!

Г. Это неправда. Выставленные там Штейнберг и Воробьев участвовали в молодежных выставках, семидесятипятилетний Евгений Кропивницкий также принимал участие в выставках; в институте гигиены и охраны труда выставлялся Лев Кропивницкий; на официальной выставке были представлены офорты Плавинского. Что же касается Рабина и Немухина, то они члены Горкома художников Москвы, а Рабин даже рекомендован живописной секцией МОСХа в Союз художников.

Р. Не может этого быть!

Г. Тем не менее это так.

Р. Знаете ли, от приема до принятия - дистанция огромного размера. Вас ведь тоже рекомендовали в Союз писателей.

Г. Конечно, но рекомендовала-то Рабина не секция портных, а художники, бюро живописной секции.

Р. А вот есть такая картина у Рабина: на ней - желтая "Правда" и тухлая вспученная рыба.

Г. Я же вас приглашал приехать ко мне. Фельетон надо писать со знанием дела. "Правда" - не желтая, а белая, а рыба написана так мастерски, что голодным людям хочется ее съесть.

Р. Я видел фотографию. Разве не все равно - картину или фотографию?

Г. Нет, не все равно. На фотографии многое пропадает.

Р. Но Рабин вклеивает в "Правду" заголовки из других газет. А вклеивая, можно придать антисоветское содержание, всякие ассоциации...

Г. Рабин - мой ближайший друг. Это человек редкостно честный, прямой и правдивый. Безусловно, вклеивая заголовки, можно придать разный смысл, но сколько я видел его картин - антисоветского содержания не усмотрел. Это кто как смотрит.

Р. Ладно. А за границу статьи вы писали? Вот рядитесь в тогу защитника русского искусства, а защищаете его почему-то с той стороны. Писали или нет?!

Г. Писал. Одна статья, например, у Марка Шагала.

Р. Кто это?

Г. Выдающийся русский художник, который, к сожалению, живет за границей.

Р. А с кем вы передавали статьи?

Г. Та статья написана очень давно, я не помню.

Р. А еще вы писали?

Г. Да, писал.

Р. И с кем передавали?

Г. Мне нужно припомнить...

Р. Эта статья у меня, я вам сейчас напому.

Достает из сейфа статью Глезера с приклеенной к ней оборванной бумажкой, на которой что-то написано от руки печатными буквами.

Р. Вы передали материал на квартире Оскара Рабина француженке Паскаль Гато.

Г. Никакой Паскаль Гато я не знаю, хотя у меня бывает много народу. Может, приходила и она, но статьи я ей не передавал, тем более - на квартире Рабина. У меня есть своя квартира. А статью, которую вы держите в руках, я передал редактору голландского журнала "Музеум журнал", выходящего в Амстердаме. Это не политический журнал, и я писал об искусстве.

Р. Разве вы не знаете, что все материалы надо передавать через АПН? И вообще, почему бы не попробовать статью у нас напечатать, а не сразу же посылать за границу?

Г. Я пишу и для АПН, но шестнадцать голландских художников и редактор журнала были в Москве всего два дня. Меня попросили написать о коллекции, и я не видел причин для отказа.

Р. Но что вы пишете в своей статье? Вот о картине Олега Целкова: "На переднем плане - медаль с изображением бабочки безобразные, можно сказать, человекоподобные морды четырех идиотов. Рты у них широко открыты. То ли они поют, то ли что-то восторженно кричат. Полубеззубые пасти, именно пасти, а не рты, маленькие глаза фанатиков... Страшно, что такими видит художник людей. И это ведь не случайная картина. Разуверился ли он в человеке, или просто на окраине Москвы, где он живет, попадаетея ему много таких бессмысленных, оступевших от пьянства лиц?" Не искажаете ли вы облик советского человека?

Г. Я пишу о пьяницах. Сейчас часто о них пишут. Больше ничего я в этом тексте не вижу.

Р. Ну а дальше? Вы пишете о письме Замятина к Сталину и сравниваете положение современных художников с положением Замятина, которого не печатали. Разве этим вы не порочите наш строй?

Г. Дальше у меня написано, почему их не выставляют, и я ссылуюсь на группу художников - Вучетича, Кербеля, Кацмана и Томского, которые, как и в сталинские времена, руководят Союзом.

Р. А вам не кажется, что раз им доверили такие посты, то надо их слушать?

Г. Не кажется. Фалька не давали выставлять именно они. Зренбурга с трибуны Кацман назвал сволочью. С ними боролся и академик Шмаринов, который пытался открыть выставку Штеренберга, будучи руководителем МОСХа. Но со Штеренбергом можно и подождать, а мне ждать некогда. Предположим, сменят этих товарищей. И решат делать выставку Немухина. А в СССР всего четыре зрелых его полотна, и все у меня. Я бы не купил - ушли бы за границу.

Р. Так вы считаете, что делаете полезное дело?

Г. Да.

Р. А вот что вам пишет Гато: "Александр! Ка вы могли дать мне такой материал? Он носит явно пропагандистский характер против вашей страны, которая оказала мне временное гостеприимство. Возвращаю его вам".

Г. Во-первых, это не похоже на стиль иностранки, а походит на стиль фельетонистов. Во-вторых, почему письмо, адресованное мне, попало к вам?

Р. Так уж получилось. А скажите мне, ведь вы не специалист в живописи, откуда вы знаете, что картины, собранные вами, действительно хорошие?

Г. О них высоко отзывались и зарубежные, и наши искусствоведы, картины этих художников выставлялись в крупнейших мировых музеях. Кроме того, ко мне непрерывно ездит много народу, чтобы их посмотреть. Это говорит само за себя.

Р. Понимаете ли, у нас есть люди, которые настроены - не антисоветски, нет, но фрондируют. Запретный плод сладок. Вот они с ухмылкой и едут к вам.

Г. Я не думаю, что дело обстоит так. Ко мне приезжают достаточно серьезные люди, приезжают по нескольку раз. Репродукции с моих картин были напечатаны в журнале общества итало-советской дружбы. А я думаю, что итальянские коммунисты знают, что полезно для нас.

Р. Мы сами знаем, что полезнее для нас.

Г. Кто это "мы"?

Р. Те, кто руководит нашим искусством.

Г. Простите, я уже приводил пример с Фальком и Неизвестным.

Р. Хорошо. А если на одну чашу весов положить всех, кому нравятся эти картины, а на другую тех, кому не нравятся? Какая чаша перетянет?

Г. Во-первых, для этого надо сначала показывать картины на больших выставках, а во-вторых, вопросы искусства никогда не решались большинством голосов.

Р. Но искусство-то делается для народа?

Г. Конечно, но народ приобщается к высокому искусству постепенно, а на сегодня, уверяю вас, гораздо большее число людей слушает "Мишку-Мишку", чем симфонии Шостаковича, и гораздо больше людей читает Эдуарда Асадова, чем Велемира Хлебникова.

Р. А что, Хлебников такой уж большой поэт?

Г. Представьте себе, что очень большой.

Руссовский достает из сейфа конверт, в котором оказываются фотографии работ Бориса Свешникова.

Р. Вы можете объяснить, например, эту картину?

Глезер объясняет.

Р. (указывая на снимок с картины "Ателье гробовщика") А это что?

Г. А такие картины Свешников имеет право писать. Он отсидел восемь лет в сталинских лагерях по обвинению в заговоре с целью убийства Сталина! Как вы сами понимаете, чушь.

Р. Ну, если у него надломлена психика, то пусть пишет картины для себя.

Г. А он для вас и не пишет.

Р. Еще один вопрос. Вы приобрели трехкомнатную квартиру, устроили новоселье для двухсот гостей, а деньги откуда? Вы, кажется, даже внесли в кооператив сразу сто процентов?

Г. Нет, я внес только первоначальный пай и заплатил за год вперед. Что касается денег, то только за одну переведенную книгу я получил три тысячи, а у меня их вышло восемь.

Р. Не может быть!

Г. Перечислить?

Р. Да.

Глезер перечисляет.

Р. Но после выставки на Шоссе вас в периодике стали меньше печатать?

Г. В какой-то степени меньше, но печатался.

Р. Но все же многих возможностей вы лишились? Можно лишиться и остальных.

Г. Все можно, только я не пойму, при чем тут три жены?

Р. А вы представьте себе, мы смотрим на вас со всех сторон: в быту - неустойчив, провокационные выставки - устраиваете, дом в музей - превратили, и еще статьи передаете. Какой, по-вашему, облик получается?

Г. По-моему, получается винегрет. Я сам работал в газете и знаю, что насчет жен и любовниц вы очень любите вспоминать. Но ничего хорошего из этого не получится.

Р. Кстати, я, конечно, не ОБХСС, но фининспекторы у вас были?

Г. По-моему, один из них был не фининспектор, слишком уж странные вопросы задавал и странную осведомленность проявлял.

Р. Да нет же, фининспектор был, фининспектор!

Г. Ваша горячность только подтверждает мои предположения.

Р. Вот вы им сказали, что ваша заработная плата в чистом виде вместе с женой - в месяц примерно рублей триста.

Г. Иногда и больше, жена тоже переводит.

Р. Но будем исходить из трехсот рублей. Я сам столько имею. Но в кооператив вступить не могу, а картины покупать - тем более, и новоселья такие устраивать - тем паче.

Г. Новоселье мое было а ля фуршет, выпивку всю прислали друзья из Грузии, осталось только сделать бутерброды. Так что все обошлось рублей в сто. А я вам уже сказал насчет восьми книг, переведенных мною полностью. Кроме того, еще есть книг пятнадцать, в которых я выступал как один из переводчиков.

Р. И все-таки мне кажется, что иногда вы картины продаете.

Г. Если вы, как сказали вначале, хотите узнать правду, то не говорите, что вам кажется, а выслушайте собеседника. Картин я никогда не продавал, хотя бы по трем причинам.

Р. По каким?

Г. Во-первых, если картина какого-нибудь художника мне понравилась, то я (у меня есть такая договоренность с художниками) имею право ее обменять на другую. Во-вторых, художники мне продают картины немного дешевле, и перепродавать их после этого - недостойно. В-третьих, не могу я давать вам в руки столь желанный факт. Так что, слышите, ни одной картины я не продавал!

Р. И все же мне кажется...

Г. Но если вам к а ж е т с я, я ничего не могу сделать. Кстати, недавно у меня был парторг министерства культуры РСФСР, а вслед за ним приезжал замминистра, и оба одобрительно отозвались о коллекции.

Р. Назовите фамилии!

Г. Фамилий замминистров не запоминаю.

Р. Но с кем он приезжал?

Г. С работником министерства культуры.

Р. Позвоните этому работнику и узнайте фамилию! И завтра же сообщите мне!

Г. Завтра не обещаю, у меня дела.

Р. Для вашей же пользы говорю, отложите дела и узнайте!

Г. Я отложить дела не могу, что же касается появления фельетона, скажу: конечно, можно лишить меня работы, но кое-кто прочтет его, по вашему же выражению, с ухмылочкою, с довольной ухмылочкой.

На этом разговор закончился, а уже 20 февраля "Вечерняя Москва" опубликовала занявший целый подвал фельетон "Человек с двойным дном", в котором меня обвинили во всех смертных грехах: и в многоженстве, и в делячестве, и в антисоветчине. В заключение упоминалось, что свою грязную деятельность я укрываю за ширмой Профкома литераторов при издательстве "Советский писатель". Уж конечно, задумано было Глезера оттуда выпереть и превратить в тунеядца. Экзекуцию назначили на 25 марта. Утром того же дня встречаюсь с председателем бюро Профкома Прибытковым.

Объясняет, что положение сложное, что требуют (кто требует?) немедленного моего исключения из организации. Но не все еще потеряно. Мы вас попробуем спасти. Для этого нужно, чтобы вы раскаялись. И торопливо:

- Перед товарищами на собрании, в узком кругу!

Протестую, но как-то вяло. Прибыткову чудится, что я растеян.

- Проводите меня. По дороге продолжим разговор. - И в метро успокаивает: - Не стоит расстраиваться. Все образуется. Нет ничего зазорного в том, чтобы признать ошибку перед собратьями по перу.

Доезжаем до "Дзержинской". Прибытков посматривает на часы:

- Начало у нас в шесть, а вы приходите на полчаса пораньше. - И к выходу. Побежал за распоряжениями. Интересно, куда. Прямо через площадь, на Лубянку, или направо, в горком партии?

А в 17.30 он совсем другой. Наверное, доложил куда надо, что Глезер, кажется, нетверд, и получил указание добиться от меня максимума. Сейчас ему недостаточно устного раскаяния. Сейчас Прибытков хочет, чтобы я признал свою вину черным по белому, написал бы заявление в бюро профкома. И уже тащит лист бумаги и ручку:

- Я вам продиктую. - И тут же:

- А может быть, вы пошлете письмо в "Вечернюю Москву"? Это самое лучшее. Тогда отделаетесь выговором.

Наконец, добрались до сути. Начиналось с малого - с раскаяния в узком кругу товарищей, заканчивается обычным требованием прилюдно поспать себе голову пеплом и молить о прощении.

- В газету, меня оклеветавшую, писать не буду!

И он смягчается, отступает, как опытный фехтовальщик:

- Пойдемте, пойдемте на бюро. Время поразмыслить у вас еще есть.

Самая большая комната издательства "Советский писатель" набита битком. Лица братьев-литераторов исполнены значительности. Родина поручила им судить преступника, и нужно оказаться достойным доверия. За минуту до открытия прибегает секретарша:

- Звонили из горкома партии, просили выступления стенографировать.

Это нечто вроде допинга. Теперь-то все поэты и прозаики, и без того находящиеся в состоянии боевой готовности, рванутся в атаку с утроенной энергией. Высокое начальство оценит их рвение. И, опережая карьеристов молодых, поднимается тяжеловесный Гейгер. У него славное прошлое. Служил в войсках НКВД. Венгр по национальности, открыто одобрил ввод в Будапешт советских танков. Ликовал, когда подавляли Прагу. Ему понукания горкома ни к чему. Он свой партийно-чекистский долг знает. После его исполненной праведного гнева речи и другим полегче выступать. Клеймят и клюют, клюют и клеймят. Заместитель Прибыткова, седенький, маленький, словно навек пришибленный Корнблум сегодня витийствует:

- Видел я, товарищи, эти, с позволения сказать, картины. Если на заводе имени Лихачева Глезер устроил бы выставку, рабочие уничтожили бы их все до единой! И побили бы авторов.

- А в институте имени Курчатова такую выставку приветствовали бы! - смело парирует Дмитриев²². Ему на подмогу спешит Романовский²³. Покашливая, зачитывает:

- Наша юридическая комиссия проверила факты, изложенные в фельетоне, и считает, что большинство из них не соответствует действительности. Глезер виновен лишь в организации новоселья вернисажа без предупреждения о том Союза художников и в передаче в обход АПН статьи за границу. Последнее неэтично.

Теперь Дмитриев поддерживает Романовского:

- По поручению бюро я заходил к Руссовскому, сказал, что использованные для фельетона факты ложны. Думаете, он стал меня убеждать? Ничего подобного. Только спросил: "Ну и что?"

Когда выступали Дмитриев и Романовский, у меня на мгновение мелькнула шальная мысль: "А вдруг ход собрания переломится? А вдруг найдутся новые смельчаки?" Нет, непоколебимы ряды борцов за коммунизм! Упрекают заблудших коллег в близорукости и постыдном либерализме. Да читали ли они статью Глезера? Читали! Так о чем же разговаривать? Это же типичная антисоветчина. Нет, гнать его взашей! Мы не можем дышать с ним одним воздухом. Председатель секции прозы от негодования сотрясается:

- Я три года провел в окопах. Воевал с фашистами. А к нему немецкий посол картинку посмотреть приезжает!

Я не утерпел:

- А что бы вы сделали, если б посол к вам приехал?

- Грудью бы встал в дверях! Не пропустил!

Собрание длится четыре часа. Двух мнений быть не может - выгонят. Прибытков предлагает высказаться мне. Ох, врезать бы им сейчас! Но приходится выступать локально. Опровергаю пункт за пунктом фельетон. Шумят, прерывают. Отстаиваю статью - ревут. Такая злоба в их криках, в их жестах, в их глазах, будто я оскорбляю лично каждого. Но Прибытков чуть-чуть гасит страсти - дирижер он умелый - и подбрасывает вопросик:

- Александр Давидович, хоть в чем-то вы себя признаете виновным?

²² Единственные члены бюро Профкома, осмелившиеся пойти против течения. - Прим. автора.

Хоть в чем-то? Как робко спрошено! Кое в чем могу и признать:

- Я ведь сказал уже о незтичности поступка и новоселье-вернисаже без ведома МОСХа...

- Так напишите об этом в "Вечернюю Москву".

Что он, с ума сошел? Кто же это напечатает? Не идиоты же там! Да и сам Прибытков не дурак. А настаивает. Он апеллирует к своему стаду. И стадо мычит:

- Пусть напишет!

Если так уж вам хочется, пожалуйста. И тогда вступает Прибытков. Говорит долго и внушительно. Всё не по существу. Всё больше об идейном воспитании. О высоких материях. И неожиданно, как бы между прочим:

- Я считаю, что если Александр Давидович в письме чистосердечно признает вину, кое о ком из художников...

- Я не обещал каяться и писать о художниках!

Укоризненно глядит, дескать, я вас не прерывал. И, словно защищая меня от меня самого и будто спасая меня от вновь расшумевшейся аудитории:

- Если такое письмо появится (и в мою сторону - без художников, без художников!), то можно не исключать Глезера, а временно снять с учета.

Жажущие крови удивляются, но покоряются. Раз Прибытков занял столь примирительную позицию, значит, на то есть основания. Значит, все согласовано с верхами. И те, кто еще секунду назад предлагал не только гнать меня вон, но и составить коллективное письмо с просьбой предать суду антисоветчика и махинатора, проголосовали за снятие с учета.

Прибытков на прощание:

- Жду от вас письма через два дня.

А через два дня читает мои двадцать строк и только что не плюется. Ему, видите ли, обидно, что он меня выгораживал, а я отвечаю черной неблагодарностью. Все не нравится председателю. И тон, и стиль, и нежелание признать ложь истиной. И главное, о картинах, о художниках - ни слова. Как будто трудно было, к примеру, написать, что будучи в эмоциональном состоянии, заблуждался и собирал работы фрондирующих непрофессионалов, неумелых модернистов.

- Не мог же я четыре года пребывать в эмоциональном состоянии!

- Эх! - вздыхает он. - Трудно с вами столкнуться! Вот товарищ Корнблум хочет вам помочь. Поезжайте к нему домой и все обсудите.

Старый коммунист Корнблум встречает меня приветливо, шутками да прибаутками. Жена и взрослая дочь накрывают на стол. Типично еврейская кухня - фиш, кнедлики... Хозяин поглаживает себя по животу:

- После сытного обеда и разговаривать веселее... - И непридуманно, как нечто вполне обыкновенное: - Я, конечно, понимаю. Вам трудно написать такую бумагу самому. Дружеские чувства. Ложное самолюбие. Но мы ее составили за вас. Распишитесь, и всё.

Что ж, посмотрим, чего им от меня надобно. О, очень многого! Винават. Раскаиваюсь. Больше не буду. Грязь в адрес художников. И блистательная, вся в сослагательном наклонении концовка: "Если бы моя статья была бы напечатана на Западе и недобросовестно прокомментирована бы, то она могла бы создать превратное представление о положении части творческой интеллигенции в нашей стране".

Я молча возвращаю ему письмо. Нет уж, увольте.

Но Корнблум не теряет надежды. С терпением, участливо:

- Я старше вас на много лет. Гожусь вам в отцы. Советую - не губите себя и семью! Здесь лишь полстранички. - И затем, указывая на эту, вульгарную рыночную подделку, стоящую за стеклом книжного шкафа: - Поглядите! Шесть сосен. Все они отражаются в пруду. И еще лебедь плывет. Тринадцать предметов! И за это я заплатил всего лишь три пятьдесят. А на картине Рабина нарисована только рыба и подклеена газета. Он же содрал с вас триста рублей! Друг называется! Вы наивный человек. Вас обманывают!

А телефон звонит уже не в первый раз, и мгновенно покрывающийся испариной человек повторяет слово в слово:

- Нет, пока не подписал. Мы обмениваемся мнениями. - И осторожно положив трубочку, снова ко мне, душевно, с надрывом даже (партзадание-то хочется выполнить):

- Вы еврей, и я - еврей. Какое вам дело до русского искусства! Подпишите!

Сознаюсь: хоть он и взывал к нашим общим историческим корням, мне пришлось его огорчить.

Александр Глезер уже три года живет во Франции. Широко известен, главным образом, своей огромной коллекцией современных русских художников, которую собрал в Москве. Глезер сумел настолько надоесть советской власти, что был выброшен из страны вместе со своими картинами. С его появлением на Западе во всех крупных странах прошла волна выставок, вышли десятки каталогов, брошюр и других изданий, посвященных современной русской живописи (разумеется, запретной), борьбе наших художников за свободу, которая - во многом стараниями именно Александра Глезера - воспринимается теперь такой, какова она и есть на деле: одна из форм сопротивления народа советскому режиму. Глезер открыл "Русский музей в изгнании" в Монжероне, под Парижем. Глезеру - пожалуй, первому из новых эмигрантов - пришла мысль об издании не-субсидируемого маленького свободного журнала, на свои средства: при западной технике и относительной дешевизне бумажного дела это здесь не чудо. Уже три года издает он альманах литературы и искусства "Третья волна". Издательство с тем же названием (всё помещающееся у Глезера на письменном столе) уже выпустило около десятка разных книг - стихи, проза, публицистика. Про энергию Глезера в Париже говорят: "Это паровоз, которому нужно только успевать подставлять рельсы". Для нас для всех Александр Глезер служит напоминанием: сколько всего может сделать один человек.

Петр ВАЙЛЬ
Александр ГЕНИС

СТРАСТИ ПО ЕРОФЕЕВУ

Сцена представляет собой кабак... Направо прилавки и полки с бутылками. В глубине дверь, ведущая наружу. Над нею снаружи висит красный засаленный фонарик. Пол и скамьи, стоящие у стен, вплотную заняты богомольцами и прохожими. Многие, за неимением места, спят сидя. Глубокая ночь. При поднятии занавеса слышится гром и в дверь видна молния.

А.П.Чехов. Полн.собр.соч. и писем.
М., 1978, т.11, стр.183

"Москва - Петушки" - это "Исповедь сына века", это "Герой нашего времени", это "Сентиментальное путешествие", это "Всеобщая литургия".

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский полив! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?

Это роман маслом для фортепьяно с оркестром, написанный на смещении критериев - и потому единственно правдивый. Его, Ерофеева, явление предвидя, писал великий русский поэт:

Подыдем стаканы, содвинем их разум!
Да здравствуют музы, да здравствуют разом! ¹

:: :: ::

Пить всегда смешно. Смешно пьющему, смешно тем, кто смотрит на пьющего. Любой абстинент упирается в неразрывность пьяного и

Венедикт Ерофеев. Москва - Петушки. Поэма. YMCA-PRESS, 1977, с.76

смешного: смешное уже не может быть опасным. Сакральный смех в истории человеческого духа представлял и представляет глубинное позитивное начало. Очищение от предыдущего "серьезного" цикла, обновление жизненных сил, возвращение к изначальному акту творения. Глобальный смех (не юмор и сатира тощего реализма) - есть сила живородящая. Карнавальным смешной мир навыворот Рабле и Гоголя - законченный образец такого смеха.

И всегда карнавальным мирозозидающий смех сопровождался буйным кликом: "Nis bibitur!" - "Дерябнем!"

Когда мы смеемся над забулдыгой, переползающим дорогу, сакральный смех щекочет нам горло, и в алкаше мы гоготом приветствуем революционера, пытающегося заменить "серьезный" мир смешным.

По своей литературной сути "Москва - Петушки" - фантастический роман в его утопической разновидности. Венедикт Ерофеев создал мир, в котором пьянство - закон, трезвость - аномалия, а Веничка - пророк его. Мир - это мир, и он не может жить с сознанием ущербной неполноты своего бытия. В отличие от Творца, Ерофеев творил не на пустом месте: мир уже был, но мир был плох, и следовало создать его заново.

Веничка Ерофеев глубоко убежден: трезвое человечество губит свою прекрасную душу на все то, из-за чего "люди столько стараются, суетятся, работают, плавают и воюют"². Нет, человек - частица вечного - должен жить чисто, светло и прекрасно. Так, чтобы не ошибиться в рецептах. В поисках блаженства познания промысла Божьего. И когда человек познает его, то будет в душе его радость и умиротворение, и всегда будет в мире его вымя и херес, а сам он будет сидеть и играть - то на мандолине, то в сику. И если есть ад нашего сумасшедшего земного мира, то есть и рай высшего царства, в котором человек, не отвлекаясь на погоню за бессмысленными ценностями, сидит и постигает высший смысл непостижимой икоты.

"Но есть и Божий суд"³, - кричит Веничка, и ангелы слышат его.

:: :: ::

"Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: "Если ты хочешь учиться на бакалавра - тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще?" ...Я говорю: "Ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота". "Из Сибири?" - спрашивают. Говорю: "Из Сибири". ...Подумал и сказал: "Мне как феномену присущ самовозрастающий логос".

Хороши бы мы были, если бы искали смысла и расшифровки того, что смысла и расшифровки не имеет. То есть полива.

Полив - байстрюк великого и могучего - один он утеха и отдохновение. Укрытие алогизма нелепицы от разбушевавшихся причинно-следственных связей. Если не он, то кто ответит божественной глоссолалией, чудным ангельским языком на тусклый и серый глас будней. Но что есть полив?

Полив есть полиассоциативное семантико-фонетическое явление, порождающее квазилогику. Полик - экстаз языка. Захлебывающаяся скороговорка смыслов и рифм, ибо "человечество говорит в рифму

чаще, чем оно думает"¹⁴. Если бессмысленное созвучие "б-овь-ровь" по гроб связывает смерть с рождением, то почему рифма имен и понятий не может бисерной иглой прорваться сквозь тень обыденности в день потустороннего - абсурдом полива. Ведь повторяет десятое поколение школьников гениальный полив бессмертного человека - "Редкая птица долетит до середины Днепра". Брюссельско-вологодское хитросплетение абсурда, "dada" дадаистов, священное "ом мани падме хум" тибетских мудрецов - не есть ли все это сгусток сверхчувственной информации? Не есть ли это клич к Богу? И ключ к Богу?

Сидит Веничка в мансарде, мезонине, флигеле, антресоли, чердаке и сочиняет эссе по вопросам любви под французским названием "Шик и блеск иммер элегант", а абсурд корчится в поливе, и рвется из него подспудная и откровенная ясность бессмыслицы. Ясность голосающей юрдивой, чей ангельский язык понятен лишь ей и Богу.

:: :: ::

Отчего "Москва - Петушки" так похожи на "Путешествие из Петербурга в Москву"? Не оттого ведь, что путешествие, что там Хотилы - тут Салтыковская, там Крестьяны - тут Дрезна. А вот: "И узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы". Откуда это? Понятно, по языку понятно, что из Ерофеева, но и дворянский революционер Александр Николаевич смог бы такое написать.

Или это: "Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян", - это уже, конечно, Радищев, человек глубоко религиозный, несмотря на все свое свободомыслие, но вполне мог бы быть и Ерофеев.

А разве не одна и та же по сути мысль сквозит у обоих русских писателей: "Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей!" Диалектическая спираль вознесла этот тезис на новую высоту, и в стране, где всегда есть место подвигам, каждый член общества известен правительству, потому что каждый - злодей, и поэтому злодей - каждый. И мерзавец Веничка, в пагубном легкомыслии убегающий в петушинские прелести, ибо "непрямо взирает на окружающие его предметы", а уж этого-то делать никак нельзя. Он, мятежный, ищет уголок, в котором не всегда есть место подвигам.

То, что "Москва - Петушки" - не просто путевые заметки, неоднократно отмечалось критиками: "Однако произведение - не просто образное описание путешествия. Эта книга носит совсем иной характер, и путешествие приобретает здесь символический смысл... [оно] было формой обобщения, типизации многочисленных поездок автора по России, а также и его косвенного опыта в этой области, обобщением всего того, что он слышал и узнал... относительно своей страны..."¹⁵

Как изменился мир со времен евангелистов! Где взять их навную и мудрую простоту выражения? Будет день - будет и пища.

Несть числа уверткам и вывертам инженеров человеческих душ. Да что толку: все уже сказано, и по-всякому. А Ерофеев пришел в мир с новым миром, как же рассказать о нем? Ведь новому миру нужен новый язык. Где взять?

И взял Веничка все книги, что были до него. И из каждой взял понемногу, и взял лучшее из лучших и худшее из худших. Никого не обидел Веничка от Антонина Дворжака до Николая Островского. Все собрал он воедино и рассказал в назидание народам древности повесть о людских страстях и томлении духа. И вышло, что все великие инженеры поют под его, Венину, дудку, а если где и соврал Вениа, то неизвестно, у кого лучше получилось.

Как будто прост и незатейлив рассказ Ерофеева, а сколько серебра по хрустало звучит в его изысканной фразе. Только пропущенной главы "Серп и Молот - Карачарово" не достает, чтобы воистину оценить неожиданность эпитета и удивительный ритм инверсий, патетику высокого слога и синтаксис потока сознания, хитрый умысел речевых характеристик и лирику молитв. Монтаж цитат, коллаж реминесценций.

Кто другой, как не Ерофеев, мог так воспеть красу несравненной из Петушков, у которой коса от затылка до попы? Только тот, мудрец народов древности, который писал:

Ой-ой,
Не зад у ней, а праздничное шествие!⁶

:: :: ::

Композиция, архитектоника - эти готические, остроугольные слова-скелеты - так не лепятся к Веничкиному апокрифу. Но стоит взглядеться в блаженную поступь кайфа, как привычный взгляд различит в псевдохаосе слов и поступков тщательную пропорцию и гармонию. От первого робкого глотка до мучительного отсутствия последнего. От утренней закрытости магазинов до вечерней. От похмельного возрождения до трезвой смерти. Гладко экспозиция переходит в завязку, та - в кульминацию, а оттуда - к трагическому эндшпилю с неминуемым катарсисом. О, как точна и искусна клиническая картина пьянства в ее классицистском триедином варианте! Как знает автор свою тему и как подчиняется она ему! И как взлеты алкоголического духа услужливо ласться к восторгам желудка. Да, дух, могучая Веничкина идея, до унижительного связана с каждым глотком пахучей амброзии.

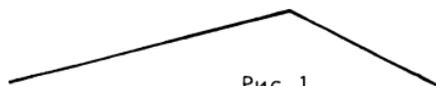


Рис. 1

Взмотритесь в этот тупой угол и возблагодарите Бога за тупость этого угла. Ибо в его вершине - блаженство, а в лучах его восхождение и пропасть. Как в извилистой черте, изображенной палкой достопочтенного папы Тристрама Шенди, скрывалась разгадка жизни, так и в этом угле кроются концы и начала книги и жизни

Венедикта Ерофеева. Вот с первой дозой теплой "Кубанской" начинается восхождение по пологому левому лучу. И с каждой дозой растет Веничкино преклонение перед мудростью и бесконечностью Всевышнего, и все ближе и достижимей кажется светлый образ мира с хересом и сикой. Но слишком узко соединение двух лучей, и не дано смертному удержаться на вершине. Ибо сказано в мире прекрасного, "если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он делается буйным и радостным. А если он добавит еще? - будет ли он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих... он уже пьян, как свинья, оттого и тих".

Да, тесна вершина, но нет мира прекрасней, чем тот мимолетный, что расположен в ее альпийской высоте. Быть может, в краткости пьяного просветления и заключена расплата за первородный грех неверия и сомнения. А может, не в силах человеческого выдержат вечное блаженство просветленного разума? Как не вспомнить здесь Наполеона, который за пятиминутное семьяизвержение обещал империю. Но не даны пять минут узурпатору, и не дана Веничке бесконечность прямой вместо бесконечности точки. И ночь сменяет день, и ад - рай, и демонами стали ангелы.

Знает Веня суровую правду жизни, но он - певец и пророк пьяного мира - призван благовестить о высшем откровении в жизни духа, о святых дарах и экстазах. Веня-буревестник тормозит и будоражит трезвое паскудство течения дней, и конец Венички - конец мифа и легенды, смертный час нарядного, как переводная картинка, мира: тишина. Летите, в звезды врезываясь. Ни тебе аванса, ни пивной - ТРЕЗВОСТЬ.

:: :: ::

И видит Вера Павловна Ерофеев сон: "золотистым отливом сияет нива, аромат несется, окрестные луга озарились огнем - в лугах варят пунш, везде алюминий и алюминий, все счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения"¹⁷. Просыпается В.П.Ерофеев и пишет "Из рассказов о новых людях", а что делать - он знает и сам: не поддаваться на иезуитские выверты Петра Великого и Дмитрия Кибальчича, а искать свое,исконное. Да и может разве машина постичь высший смысл пьяной икоты? Нет, В.П.Ерофеев задачу воспитания нового человека ставит прежде задачи создания материально-технической базы. Дело это непростое. Помнится, один серьезный человек предлагал, например, такое: "По части усмственной работы... переводы и притом обратные, т.е. сначала с иностранного на русский письменно, а потом с русского перевода опять на иностранный. ...А по части физической... гимнастику ежедневную и обтирания"¹⁸.

Веничке, правда, и эти советы не нужны. В его светлом мире бледно-голубая похмельная глазница наливаются красным портвейном в прожилках, и человек преобразуется, одухотворяется, и "можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет", потому что занят высоким и нужным.

В гармоничном мире гармонией исполнены и его категории. Рыжеволосая дьяволица чище Беатриче сбегает на петушинский перрон. И нет в ней изъянов - лишь сокровенные изгибы, и никто не бро-

сит в нее камень, "ибо она совершенна, а совершенству нет предела", как нет и суда.

Ворочается младенец в кроватке, возле которой пьет лимонную Веня - Творец и Созидатель, Лобачевский и Эйнштейн. Младенец, умеющий произносить букву "Ю" - провозвестник божественного полива. И через эту лимонную "Ю" светят Вене преемственность и надежда. Он, младенец, единственная непреходящая часть мира, в пространстве существующего на пути от Москвы до Петушков, а во времени - от открытия и до закрытия магазинов и во веки веков. И только для младенца не находится у Вени полива, потому что некуда прорываться, потому что не нужен экстаз и глоссололия, потому что это уже - гавань, прибежище, ковчег.

Потому и не доезжает Веня до Петушков, бесовским кружением возвращаемый в Москву.

× × ×

Бога можно славить по-разному. Нет на Земле племени, славящего Его одинаково с другими, как нет кощунства, не звучащего молитвой в чужих устах. Как мало, в сущности, надо, чтоб оказаться по эту сторону добра, а не по ту сторону справедливости! Как просто отделить зерно от плевел! Как обольстительно легко найти ответ на вопрос "а есть ли?.."

Икота. В ее неисповедимом ритме "тринадцать-пятнадцать-четыре-двенадцать-пять-двадцать восемь-" не кроется ли знамение почище неопалимой купины. Да, кроется. Ибо "она (икота), то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и перед которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. Он непостижим уму, а следовательно, Он есть. ...Да. Больше пейте, меньше закусывайте."

Неужели наш жребий - уподобиться кретином-проходимцам? Неужели увидим в откровении кощунство и в исповеди пародию?

Веничка пришел в мир, чтобы промыть его заплесневевшие глаза "Слезой комсомолки". Чтобы одухотворить бездуховность бытия измышленным пьяным миром.

Давно уже в России существует этот мир. А создали его водка и книги. Иногда чуть больше водки, иногда чуть больше книг. Но люди живут в несуществующем так же запросто, как в коммунальной квартире: привыкли, устроились, да и что делать в существующем? Работать, плавать и воевать? Не зря давно уже зреет мысль: реальность искусства реальней реальности жизни. А от вымышленного мира искусства до измышленного пьяного мира расстояние куда короче, чем от великого до смешного.

Веничка - пророк мира вечнооткрытых магазинов - опирается на деятелей Sturm und Drang и Могучей кучки, как Христос на Иоанна Крестителя. Бунин пил, "а Куприн и Максим Горький - так те вообще не просыпались". И Шиллер, и Гоголь, и Пушкин, и Герцен.

В новом веничкином мире все писатели пьют, и все, кто пьют - писатели. А иначе откуда у дедушки Митрича талант и жалость так рассказать о любви, как он рассказал про председателя Лозн-гриня: "...Придет к себе в правление, ляжет на пол... тут уже к нему не подступись - молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек - отвернется он в угол и заплачет... стоит и плачет... и пьсает на пол, как маленький..."

Фантастический (реальный) мир "Петушков" имеет свою историю и знает своих героев. Вот из кустов жасмина, выходит блестящий теоретик Вадим Тихонов, чьи тезисы прибиты к сердцу каждого. Мелькает отблеск, прообраз того царства алюминиевой гармонии, где несть ни эллина, ни иудея, а есть единство вымени и хереса - воплощенная мечта гурмана и гуманиста. Тогда, выступив "двумя колоннами, с штандартами в руках, ... колонна на Елисейково, другая - на Тартино", президент Ерофеев и канцлер Тихонов со товарищи несли могучие идеи переустройства Вселенной. Их помыслы были чисты, намерения - благородны: обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в шесть утра, объявить войну Норвегии, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в пять тридцать, отдать Юзефу Циранкевичу польский коридор, "а какую-нибудь букву вообще упразднить, только надо подумать, какую".

И только убедившись в том, что человечество не желает земного рая, Веня умыл руки, допил остаток "Российской" и пошел вон от своей военно-политической славы, плюнув на низкое солнце Аустерлица, от своего Тулона - в рай Петушков, где его поймут и примут.

:: :: ::

Трепетное сродство душ, сочувствие явилось впервые где-то между Есино и Фрязево. Презрев низость житейских проблем, лишь о высоком и прекрасном говорили и декабрист, и Митричи, и женщина сложной судьбы. И не было в их беседе ничего мелкого и несущественного. Как жалкий мастерок преображается в руках титулованных масонов, так сияют рубиновым светом чирьи председателя Лознгрина, возвещая о высокой трагедии неразделенной любви. Любовь, Искусство, Судьбы Народа - лишь эти предметы достойны человека, не сомого двумя бутылками "Кубанской" в петушинские кущи. В этом разговоре - до звона напряженном, интеллектуальном и эмоциональном заоблачно - Николай Гоголь пьет водку из розового бокала, Модест Мусоргский лежит в канаве с перепоею, тридцать самых плохих баб лучше одной самой хорошей, и мучительно волнует проклятый вопрос: "Где больше ценят русского человека, по ту или эту сторону Пиренеев?"

Служенье муз не терпит суеты.

:: :: ::

Начинает Веничка кошмаром, сходя со ступеньки в подъезде, по счету снизу сороковой - в город, который утро уже красит нежным светом, город, готовый закипеть и возмочуть. Выходит Веня, прижимая к сердцу чемоданчик, и видит вдруг пидора, скребущего тротуар, и черным коршуном спускается ужас: рано. "От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого" (Матф. 27:45). Да, "о, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа - время от рассвета до открытия магазинов!"

Как и всякому человеку, Вене надо к Кремлю. Ему с первой же строки надо к Кремлю - в болезненно-извращенном мазохизме, туда, где закаляется сталь, где кавалеры Золотой Звезды замужем за

стряпухами, где круче всего закругляется земля, где бьется пульс планеты. И до последней страницы, когда "с последней ступеньки бросились душить, сразу пятью или шестью руками" - до последней страницы горят во мраке рубиновые звезды и выезжает маршал на коне, маршал, знаменитый по всей стране. Но бережет между первой и последней страницами Веню Нечто, раз за разом выводя к Курскому вокзалу и увозя к Петушкам. Мелькают любезные сердцу Серп и Молот, Карачарово, Назарово, но сил нам нет кружиться боле, колокольчик вдруг умолк.

"- Ты от нас? От нас хотел убежать? - прошепел один." - И в его вопросе меньше гнева, чем истерического любопытства. - "...И схватил меня за волосы и, сколько было силы, хватил меня головой о кремлевскую стену." - О стену древнего Кремля, к которому пришел наконец Веня.

И, может быть, напрасно бежал он от ада Кремля в рай Петушков, напрасно рвался к совершенству: к рыжеволосой дьяволице с косой от затылка до попы, к младенцу, умеющему произносить букву "Ю", к ресторанам, где к вымени безропотно и торопливо несут херес. Круг замкнулся, и ангелы насмелились над Веней. Да и ангелы ли это? Может, мчатся бесы рой за роем, в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывающ сердце? Ну вот, ведь сказано же: визгом и воем, а он - смех!

Нет никакого ада, нет никакого рая, есть только то, что есть, и нет ничего страшнее этого, и нет спасения. В самом начале дня-жизни-книги было сказано слабому и растерянному: "Талифа куми", и он встал и пошел, сперва шатаясь от холода и горя, потом стервенная и веселясь, и розовое крепкое за рупь тридцать семь стало его кровью, и ласковая громада Курского вокзала выпустила его в Елисейские поля. А в конце дня-жизни-книги, когда он, скрючившись на верхней лестничной площадке, слушал жуткий скрип дверей, они собрались все: Луи Арагон под руку с Эльзой Триоле, ревизор Семеныч в исподнем, Митричи в соплях, декабрист в коверкотовом пальто, палачи из привокзального ресторана, соратники по революционному перевороту... С той, с этой стороны, из ада и из рая. А ТЕ поднимались, держа в руках обувь, и никто не мешал им, только ангелы, подвизгивая, хохотали. И в дикой мешанине дня-жизни-книги уже он воззвал: "Или, или, лама савахфани!" Но - "они вонзили свое шило в самое горло... Я не знал, что есть на свете такая боль, и скрючился от муки, густая красная буква "Ю" распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не пришел в сознание и никогда не приду".

Потому что нет никакого ада, нет никакого рая, есть только то, что есть, и нет ничего страшнее этого, и нет спасения.

примечания

- 1 А.С.Пушкин. Полн.собр.соч. в 10 тт.Изд.АН СССР,М.1957,т.2,стр. 269
- 2 Ф.Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль.М.1956,стр.8
- 3 М.Ю.Лермонтов. Собр.соч. в 4-х тт.М.1975, т.1,стр.25

- 4 См. А.Терц. Голос из хора. Лондон, 1973, стр.18
- 5 Орлов О.В., Федоров В.И. Русская литература. М.1972,стр.248
- 6 Аристофан. Мир, стр.470. В кн.: Античная драма,БВЛ,М.1970
- 7 Н.Г.Чернышевский. Собр.соч.в 5 тт.М.1974,т.1,стр.364-365,375,383
- 8 В.И.Ленин. Письма к родным, 1984-1919. М.1934,стр.267-268

Петр ВАЙЛЬ - журналист из Риги. Родился в 1949 году. Работал в республиканской молодежной газете "Советская молодежь".

Александр ГЕНИС - филолог из Риги. Родился в 1953 году. Работал в газете "Ригас вильни".

Оба эмигрировали в 1977 году и живут теперь в Нью-Йорке. Печатались в газете "Новое русское слово", в журнале "Время и мы".

ДОБАВЛЕНИЕ

ДВА ТИПА КРИТИКИ

Мы тут живем в условиях свободы, как дикие звери в просторном вольере. Говори, пиши, высказывайся как хочешь. Естественно, твой ближний тоже горит желанием высказаться поперек тебя, и высказывается.

По поводу третьего номера нашего журнала возникли различные мнения, и редакторы получили несколько достаточно характерных писем от друзей, а также ряд отзывов, устных и печатных, от людей других поколений и другого жизненного опыта. Редакторы даже сами вступили в полемику, и их ответное письмо было любезно напечатано (правда, с сокращениями). На их письмо последовало еще одно — в условиях свободы рецензенты свободны пользоваться десятками псевдонимов, включая женские. И вот редакторы подумали: а почему бы всю эту кашу не выложить разом нашему терпеливому читателю, безо всяких там путеводных нитей, зато и ничего от него не скрывая.

Если литература вызывает споры, эти споры не должны загоняться внутрь. Тем более, как нам кажется, эти споры живописуют нашу литературную жизнь так ярко, как не удалось бы ее описать, если бы постараться нарочно.

Разумеется, у авторов писем мы спросили согласия на публикацию — и получили его.

газета "Русская мысль", Париж, 21 дек. 1978
из статьи "Периодика", стр. 18

Журнал «Эхо» № 3 (1978 г.) — редактируемый В. Марамзиным и А. Хвостенко — открывается фотографией (очень хорошей, кстати) В. Высоцкого и М. Шемякина. Эту композицию (потому что это композиция), хоть на ней два персонажа, хочется назвать «самосозерцание» (самолюбование?) до того оба — даже до некоторой степени — углублены в свою позу. Тем более, что и иные авторы сборника — в одиночку — грешат тем же.

В. Марамзин в своей статье «Время и мы» (обзор) высказывает дельную мысль, что не всякое собрание прозы и стихов, даже периодическое, — журнал... Но из приведенных примеров можно думать, что делает сборник журналом та духовная задача, которую ставит себе зачинатель-издатель-редактор, проводя ее через все издание. Похоже, что на этом уровне у сборника «Эхо» задачи нет и его существование объясняется вполне указанной фотографией.

После этого «символа» идут две «новые песни» В. Высоцкого (как вещь, вторая — «Купола», песня о России, — лучше) и затем прозаические «Баллады» Александра Розена, по прочтении из памяти исчезающие бесследно. Пожалуй, за что-то «вечно русское» цепляется «Баллада об участковом». О стихах В. Тупицына можно сказать, что формально он на высоте, допускающей всякую смелость, но... как говорится в его же стихах: «что ему в себе самом от этой пустоты?»...

Рассказ Бориса Вахтина «Сержант и фрау» из времен, конечно, Второй Мировой и продвижения победоносного советского воинства по Европам, задуман интересно и с перспективами психологических глубин. К сожалению, сержант слишком (мысленно) боллив, и болтовня его, хоть из сюжета не выпирает, не очень красочна. Скупее сделано «пробуждение» (и в прямом, и в переносном смысле) советского человека (русский бы так не поступил — не убил бы женщину).

Поэма Иосифа Бродского «Зоя», занимающая 15 страниц, не похожа (как подавляющее большинство его стихов) на корректный перевод с очень талантливо иностранного оригинала, и поэтому, может быть, откровенно скучна.

У Виктора Сосноры — «Из книги 1973» — нечто вроде попытки дать острую, как говорили в старину, «фреску» Западного мира в указанном году. По духу похоже на что-то у Эренбурга. Для старой эмиграции всего забавнее репортаж о собрании «памяти Пастернака» в Консерватории им. Рахманинова (в Париже). Оставив в стороне характеристики Б. Зайцева, Вейдле и Адамовича — нельзя не восхищаться все же мнением Сосноры об Окутюрье, который де говорил на более «чистом современном русском языке», чем предыдущие. Если автор этой формулы не собирается эмигрировать и не расчищает себе пути для устройства лектором в Сорбонне, интересно узнать, какой «современный» русский язык имеет он в виду: тот ли, что «осовременивают» по Даю, или тот, что «обновляют» по жаргону среднего пропагандиста из героических времен «Утверждения Сов. влас-

ти», или тот, что ломают по Бене Крику? В трех стихотворениях В. Сосноры обращают внимание своей выразительностью две строчки: «в шоколадных усах у школ детвора»... и «снег у статуи чуть-чуть залил срамоту»...

Песни Глеба Горбовского возможно в пении доходят до любителей переставшего быть модным «блатного» жанра, читать их не очень интересно.

Не подлежит сомнению, что Эдуард Лимонов, как прозаик — талантливей Лимонова поэта. К сожалению, и тому, и другому отказать в настоящем содержании. И оба они порой даже «с надрывом», доказывают нам, что им собственно нечего сказать, нечем обратиться на себя внимание, кроме лишеной даже признаков эротизма чисто «механической» порнографии.

В заметке «Из подземелья звезды видно» В. Марамзин пытается убедить читателя, что не надо ставить знак равенства между Э. Лимоновым человеком, который и т. д. и т. п., и Лимоновым автором, между прочим мечтающим быть председателем ВЧК и допрашивать «Славящуюся своей замечательной красотой двадцатидвухлетнюю княгиню Н...». Весьма примечательно, как мечта и — по изложению — достойно пера Брежневко-Брежневского, но... даже и это таланта не заменяет.

После не вызывающей никаких замечаний дадаистской древности «Всякое» Вагрича Бахчаняна — стихи Анри Волохонского «Венок серебряному веку» весьма интеллигентны и действительно (почти) венков сонетов, но к сожалению, голая риторика. «Движения» Михаила Деза (из дневника очень молодого математика) — бесчисленное количество афоризмов, заслуживающих внимания только в том случае, если этот «математик» действительно очень молод. (Запомнилось: «Приехал тип с другой планеты и решил, что люди — органы размножения машин».) Повесть М. Д. Козыревой «Девочка перед дверью», продолжение следует, поэтому судить трудно о том, насколько удалась автору попытка подойти к роковой советской теме ареста родителей со стороны оставшегося на воле ребенка. Пока что преизбыточествует быт. Язык без литературных ухищрений.

«После «Этапа» Е. Горного (из лагерных воспоминаний), несмотря на предельную использованность темы, читаемого с интересом, и «Уроков чтения» Сергея Довлатова, примечательных только тем, что их автор напечатал своей (другой) рассказ в «Континенте», еще сидя в Ленинграде — идет, заканчивая номер, уже упоминавшийся большой обзор «Время и мы» (журнал) Владимира Маразмина. Талантливому беллетристу не обязательно быть и талантливым критиком, но высказаться на эту тему (а тем более в своем журнале) он может, как и все. Надо только помнить, что

акус — дело тонкое и что не надо слишком козырять им, потому что это безвкусно. А посвящать целую главу доказательствам безвкусица редактора конкурирующего издания — тем более. Конечно, В. Маразмин возможно прав, проигнорируя над конфетной строчкой рассказа М. Сергеева (...«Распустилась трепетная почка первой звезды»), но, по совести, что человечнее и «вкуснее»: кормить читателей (даже не любящих сладкого) конфетами или, как делает любимый писатель Маразмина, превращая его журнал в журнал, — собственными экскрементами?

М. Сергеев

ИГОРЬ ЕФИМОВ ИЗ ПИСЬМА

Никогда, наверно, не забуду один давнишний разговор с тобой. Ехали в поезде, кажется, в Кенигсберг. Я сказал про какую-то тогдашнюю политическую ситуацию, что она опасна и нежелательна, потому что из-за нее может начаться новая война. «Ну и что? — сказал ты. — Начнется война — и прекрасно. Будут написаны новые произведения о войне. Талантливые вещи.»

И, в сущности, этой линии ты держишься твердо всю жизнь. Из всех оценочных шкал ты оставил одну-единственную: талантливо или нет. Невозможно представить себе, чтобы ты сказал про что-нибудь «талантливо, но гнусно!». А именно это нужно было сказать про вещь Лимонова.

Я не говорю, что ее не следовало печатать. Хотя некоторые из авторов 3-го номера, наверно, отказались бы выйти с ней под одной обложкой, знай они заранее, но это не аргумент. Откажутся в следующий раз. Ты любишь талантливое во всех его проявлениях и волен печатать все, что захочешь. Но зачем! — зачем тебе при этом ставить себя в дурацкое положение, доказывая в послесловии, что ничего страшного не происходит? Что это просто такой очередной очень злой и мерзкий, но п р и д у м а н н ы й литературный персонаж, а не настоящая исповедальная проза. По принципу внешнего сходства ты притягиваешь «Записки из подполья», закрывая глаза на то, что в них герой вопит, вызывая весь мир на суд, зная какую-то свою конечную невыразимую правоту. Здесь же о суде (о выяснении правоты-неправоты) не может быть и речи. Здесь мир вызывается на расстрел.

Настоящая литература неизбежно имеет свои вершины и бездны. И не надо отождествлять их только на том основании, что и там и там человеческая душа раскрывалась на пределе самовыражения (это, наверно, и есть талантливость). Слишком уж разные были души. Гоголю не надо было становиться ни Чичиковым, ни Вием, Дос-

товескому - насиловать несовершеннолетнюю или брать в руки топор, Камю - убивать араба. Но маркиз де Сад должен был быть тем, чем он был, и твой любимый Луи Селин должен был побывать на краю ночи, чтобы написать свою книгу. То же самое и с Лимоновым.

Всю свою жизнь мы жили в полной власти бандитов победивших, слегка от своей победы обленившихся, разжиревших, утративших юношескую романтичность. Про них много уже написано, мы всё про них знаем. Здесь же перед нами - "портрет бандита в юности", вернее, автопортрет, написанный мастерской рукой. Упоенная ненависть в чистом виде, не пытающаяся прикрываться теорией классовой борьбы или чем-то подобным. Злоба и одиночество терзают душу так, что ненавидится всякий, у кого хорошо на душе. Пусть это будет просто подвыпившая компания под окнами. И именно из этого мощного заряда бессмысленной злобы будут вербовать свои кадры будущие ЧК и гестапо. Я не говорю, что персонально Лимонов непременно пойдет реализовывать свои палаческие фантазии. Вполне возможно, что его отнесет просто в толпу тех черных контролеров, вахтеров, кондукторов, швейцаров, пенсионеров на скамейках, чью бессмысленную злобу мы тоже ощущали на себе всю жизнь. Но так или иначе, он придется ко двору любому новому тоталитаризму. Ибо советская власть, коммунизм - это всегда не просто победа нескольких тысяч коварных заговорщиков, а политическая реализация определенного состояния души. Именно такого, которое описывает, глядя в зеркало, Лимонов. Из этого подполья можно увидеть только одни звезды - красные звезды Кремля.

И вот про все это ты пишешь: "Тоска по чистому злу - это, в сущности, тоска по чистому добру". И даже находишь повод для национальной гордости: русский бандит, оказывается, по мелочам не работает, "заносится на настоящие ценности: добро, веру, красоту".

Знаешь, есть мир бандитов, чтящий одну только силу, и мир обычных людей, чтящих закон - Божеский или человеческий. Между ними невозможно провести четкой границы, они могут быть тесно перемешаны не только в одной стране, но и в одной душе, но тем не менее существуют отдельно. Жизненные обстоятельства или собственные слабости могут заставить человека вступить в какие-то отношения с бандитами, пользоваться их услугами. Худо только, когда мы, поддаваясь этим обстоятельствам, соображениям, слабостям, страстям (в том числе, и страсти к талантливому), пытаемся еще для душевного спокойствия уверить себя и окружающих, что ничего особенного не происходит, что они уже и не бандиты, а хорошие, нормальные ребята. Именно этим меня огорчило твое послесловие. Мне кажется, что ты в каком-то смысле повел себя, как те богатые русские промышленники (Морозов?), которые в начале этого века то ли из ухарства, то ли из безответственной любви к озорству снабжали деньгами большевиков.

Сергей Довлатов из письма

Мне известно содержание Ефимовского письма. Я Игоря чуть бесконечно, ты знаешь. Однако тут я не согласился. И пытался - разумеется, безуспешно - ему это выразить.

Игорь - человек убедительный. Я же этого лишен. Просто чувствую - он неправ. Попытаюсь коротко это чувство изъяснить.

Начну с того, что я относительно разделяю. Я согласен, в твоём послесловии к Лимонову есть благожелательная натяжка. Конечно, у Лимонова не сказ, а скорее исповедь. Все остальное Ефимов напугал, мощно и умно.

Существует биологическая (птичья, козлиная) талантливость. Нужно понимать действие этого аппарата. "Талантливо - не талантливо" - критерий (здесь, на воле) для редактора (если он не политик) - определяющий. Другие критерии уводят черт знает куда. Если Лимонов чудовище (как и все мы, исключая Гордина и Уфлянда) - это худо для Лимонова и его родни. Для литературы это - никак. Для меня, читателя - никак. А его талантливость возвышает и радует меня.

Ефимов как бы думает, что литература и жизнь - одно. Заблуждение пагубное. Прикасаясь к ужасному, читатель не делается хуже. Скорее - наоборот. Поскольку узнает себя. А прикасаясь к замечательному, не делается лучше. Прикасаясь же к таланту - делается лучше, и намного.

Еще один момент. Игорь пишет, что кому-то, мол, неохота быть с Лимоновым под одной обложкой. Лично мне - охота. Охота - с Лимоновым. А главное - с тобой, Соснорой, Уфляндом, Бродским.

И вообще - да здравствует чуждый Ефимову ЛУИ ФЕРДИНАНД СЕЛИН!

В редакцию "русской мысли":

Уважаемая редакция,

мы оба не принадлежим к обидчивым авторам и никогда не стали бы обращать внимание на любую, самую недоброжелательную критику, на любые нападки. Однако речь сейчас идет не о нас. Рецензия М. Сергеева на редактируемый нами журнал "Эхо" (№ 3, 1978) переходит все допустимые границы и представляет собой не литературно-критический отзыв, но известный общественный поступок, о котором уже приходится говорить.

[Жанр, в котором работает М. Сергеев, можно определить единственным словом - инвектива. Разумеется, мы не можем требовать от рецензента хотя бы частичного доброжелательства. Иное дело выступление сотрудника газеты. Мы уверены, что ее позиция не совпадает с позицией инвективщика. Вы пишете в передовой статье того же номера: "Как и раньше, газета будет антикоммунистической, по мере возможности объединяющей голоса всех трех эмиграций в единомышленном протесте против злодейств марксистско-тотальной диктатуры и служащей рупором для всякого живого слова, сказанного на пока еще находящейся по ту сторону свободы и демократии родине". Наш журнал всегда, и рецензируемый номер в частности, состоит на две трети из рукописей, пришедших сложными пу-

::Оба следующих письма в газ. "Русская мысль" от 11 января 1979 г. напечатаны в разделе "Письма в редакцию", стр. 12, со значительными сокращениями. Купюры заключены нами в квадратные скобки.

тями из России, из тех самых "живых голосов", о которых вы пишете и для которых у рецензента не нашлось ни одного теплого слова.]

Оставим в стороне обруганных авторов, живущих уже в эмиграции (Бродский, Лимонов, Волохонский, Довлатов и др.), но в том, что касается писателей, задавленных цензурой (Высоцкий, Вахтин, Соснора, Горбовский, Козырева и др.), мы не можем найти никакого оправдания рецензиям, подобным той, о которой идет речь и которая, не является, к сожалению, первой или случайной, а продолжает форменную травлю, ставшую уже традицией для господ...Ских и Сергеевых [вспомним хотя бы безобразную ругань по поводу "Аполлона-77", рецензию на первый номер "Эха", на некоторые литературные материалы журнала "Время и мы" и т.п.).]

Приходится напомнить рецензенту, с каким удовольствием советская печать использует такие материалы для своей "тотальной диктатуры" и как неприятно бывает несвободному русскому литератору, когда на очередном допросе в КГБ ему подсовывают (о, если бы фальшивку!) подобную статью, написанную здесь, вроде бы "своими", статью, которая лишает его последних сил, последней воли к сопротивлению.

[Мы убедительно просим вас напомнить вашему сотруднику еще одно простое положение: литература не создана для услаждения ревнителей элегантности в быту и на работе. Настоящая литература нередко бывает неприятна, так как она вызывает тревогу, лишает успокоенности (подумайте, как просто успокаивает себя рецензент: русский не мог бы убить женщину - и с этой новой теорией ему уже легко жить на свете!). Любому ревнителю русской словесности на память придет не один эпизод, опровергающий утверждение рецензента, и нам кажется неуместным вдаваться здесь в подробности. Исследовательская функция литературы не всегда оказывается приносящей утешение. Литература - это не дама, приятная во всех отношениях. Не зря именно в СССР, где официальные установки представляют собой квинтэссенцию усредненного филистерства, от литературы требуют именно услады и оптимизма. Удивительно читать в свободном русском издании, что кто-то и здесь мечтает усладить литературой обывателя: "...распустилась трепетная почка первой звезды... вышел приятный на вид человек, приветливо поздоровался..." Да, мы не зря процитировали в журнале эту строку из М.Сергеева-рассказчика в качестве образца слащавости. Правда, это еще не является оскорбительным, тем более что М.Сергеев и в этой статье продолжает настаивать на своем праве быть сладким: "...человечнее и "вкуснее" кормить читателей (даже не любящих сладкого) конфетами..." На наш взгляд, такое заявление более подобает сочинителю кулинарных рецептов, чем литературному критику (да еще пишущему рассказы) - но что ж тогда так рассердился М.Сергеев на наш бедный журнал? С завидной последовательностью он грубо, почти нецензурно обругал каждого автора журнала, в том числе и живущих в России, лишенных возможности свободно ему ответить.]

Мы считаем, что публикуемые журналом литературные материалы вполне могли бы вызвать настоящий разнос, так как и с точки зрения вкуса, и с точки зрения художественных установок, и с

точки зрения представленного жизненного материала эти тексты дают возможность человеку с иными вкусами, установками, иным жизненным опытом для серьезного и резкого разговора. Но для такого разговора надо этими качествами обладать. Взамен М.Сергеев кидает вскользь различные неприятные намеки, которые должны сообщить читателю ощущение то ли политической сомнительности, то ли личной нечистоплотности авторов журнала. В этом рецензент идет даже на прямую клевету и подтасовки. Мы вынуждены все же сообщить читателям, которые не видели журнала "Эхо", что никаких "экскрементов" они там не встретят или что В.Марамзин не пытался "убедить" читателя, что не надо ставить знак равенства между Э.Лимоновым - человеком... и Лимоновым-автором", а всего лишь предупреждал о том, что не следует путать автора (и человека) с персонажем его книги. Такими нарочитыми передержками полна статья М.Сергеева, как и многие другие его статьи, касающиеся литературы, не им сочиненной.

[Мы согласны, что свобода слова - вещь хорошая и что газета должна доверять своим сотрудникам. Мы уверены даже, что постфактум эта рецензия вызвала и в редакции досаду. Но может быть, просто не стоит просить г-на М.Сергеева писать о литературе? Иначе читатель узнаёт только одно: что существует некто Сергеев и что этот некто литературы не любит. Прямо скажем, такая сентенция содержит мало полезной информации. Или, может быть, стоит ввести в газете для публикаций таких сотрудников как ...Ский, Сергеев и др. специальный раздел "ЗЛЮПЫХАТЕЛЬСТВА И ИНВЕКТИВЫ"? Согласитесь, что материалы, выходящие под таким заголовком, трудно было бы использовать блюстителем советской литературы в борьбе с инакомыслящими сочинителями.]

С совершеннейшим уважением,

В.Марамзин и А.Хвостенко

Уважаемый господин редактор!

О вкусах, конечно, не спорят. Рецензенту 3-го номера журнала "Эхо" М.Сергееву ("Русская мысль" от 21 декабря 1978 года) вполне могло ничто на его страницах не понравиться: ни проза, ни поэзия, ни публицистика. [По сему поводу остается только выразить ему искреннее сочувствие. Ну, не в состоянии он воспринять стихи Иосифа Бродского. Скучно ему от них. Вот точно так на моего дедушку по материнской линии наводила скуку музыка Шостаковича, а дядюшка по отцовской засыпал над Цветаевой. Что уж тут поделаешь!..] Печально иное. [В СССР мы привыкли к внелитературной оценке произведений литературы, ко всяким там бранным выражениям типа "влияние буржуазной идеологии" и "очернение советской действительности".] Прискорбно, что господин Сергеев [тоже] вступает на внелитературный путь оценок литературного журнала. О живущем в Ленинграде поэте Викторе Сосноре, который рецензенту не по нраву, строится предположение: "Если автор этой формулы не собирается эмигрировать и не расчищает себе пути для устройства лектором в Сорбонне..." Владимиру Марамзину, который написал статью, чуть не гимн журналу "Время и мы", но кое-что в

нем и покритиковал, объявляется выговор: "Посвящать целую главу доказательствам безвкусыя редактора конкурирующего журнала..." Чувствуете, какие обвинения? Один себе дорогу расчищает, другой конкуренту подножку дает. А дальше и того чище. Оказывается, "любимый писатель Марамзина превращает его журнал в нужник - с собственными экскрементами". Сказано смачно. Только непонятно, о каком писателе идет речь. И увы, прошу прощения за повторение, критический стиль господина Сергеева сильно смахивает на критический стиль какой-нибудь "Вечерней Москвы". [Стоит, скажем, русскому писателю выйти за рамки соцреализма, как она его немедленно клеймит "идеологическим провокатором" или "проводником буржуазных идей". Господин Сергеев все, что выходит за рамки его личного вкуса, судит по тем же канонам. Правда, ярлыки у него несколько иные - нужники да экскременты. Но суть дела от этого, право, не меняется.]

Александр Глезер

алексей лосев из письма

Крупно поспорил с Ефимовым (дружески, конечно). По поводу Лимонова. Он (Ефимов) совершенно не различает этического и эстетического, даже намеренно не различает. Это меня настолько удивило, что даже спорить было трудно.

Он читает у Лимонова (по-моему, просто трогательный) пассаж "Хорошо быть следователем ЧК в Одессе и т.д." и называет Лимонова палачом, и сердится, когда ему говоришь, что с таким же основанием можно считать палачом любого актера, играющего роль палача; не потому, что Лимонов ангел или Лимонов - садист, а потому, что и то, и другое находится в отношениях с данным текстом, столь сложных, что всерьез просто нельзя и учесть. Может быть, он и свинья, Лимонов, но чувство-то стиля у него есть, и порой пленительное. По мне, так единственно, за что Лимонова-писателя надо судить, это за то, что структурой целого не владеет.

газета "Русская мысль", Париж, 25 янв, 1979

САМОЗАЩИТА ИЛИ КРИТИКА?

С грустным удивлением прочла я в "Р. М." № 3238 гневные письма Марамзина, Хвостенко и вторящего им Глезера. Не помню до сих пор случая, чтобы поверхностная рецензия, подменяющая анализ перечнем заглавий или приятельскими похвалами, вызвала отповедь. Но не успели на страницах "Р. М." появиться содержательные обзоры периодики М. Сергеева и меткие, остроумные статьи -Ского, как их авторов подвергают «обработке», не останавливаясь перед прямой инсинуацией.

Редакторы журнала «Эхо» маскируют желание оградить себя от критики под проявление товарищеской заботы об авторах, проживающих в

Советском Союзе, которые зарубежные рецензенты якобы обязаны хвалить, закрывая себе глаза на литературные недостатки написанных ими произведений, появившихся в зарубежной прессе. Как в СССР писателей, критикующих окружающую их действительность, до сих пор запугивают тем, что их произведения могут использовать «враги» за границей, так Марамзин и Хвостенко, которым явно не хватает изобретательности, обвиняют М. Сергеева в том, что его рецензии КГБ может использовать, чтобы «лишить последних сил» «обрученных авторов». В списке этих «обрученных» фигурируют имена В. Высоцкого, М. Козыревой и др. Достаточно перечесть обзор Сергеева, чтобы убедиться во вздорности этого обви-

нения. Единственное, что сказано там о Высоцком, это то, что на фотографии, опубликованной в «Эхо», он «углублен в своя позу» и что вторая из его песен лучше первой. (Чем тут может воспользоваться КГБ?) О Козыревой рецензент пишет, что в ее повести — призыв быта, но что о ней пока нельзя судить, т. к. «продолжение следует». Тем не менее Марамзин и Хвостенко уверяют, будто эти безобидные замечания могут «лишить автора последней воли к сопротивлению» и «продолжают форменную травлю, ставшую традицией для господ... Ских и Сергеевых». Как говорится, волк овцу дерет, а сам орет. Видимо, Марамзин и Хвостенко убеждены, что критики обязаны высказывать только удобные им суждения, а не свои собственные. Читая письма, авторы которых беззастенчиво обвиняют критика чуть ли не в политическом предательстве, можно только подивиться нетерпимости и болезненному самолюбию отдельных представителей третьей эмиграции, которые едва сев в редакторское кресло, тут же обрушивают дубинку на любого, кто высказывает нелицеприятные

суждения об их произведениях и издаваемых ими журналах. Можно ли после этого удивляться тому, что критические статьи, основанные на анализе произведений, а не на взаимной лести, стали у нас в последнее время редкостью и что занятие критикой и здесь, в свободном мире, сделалось среди русских эмигрантов таким же опасным, каким было за «железным занавесом». Если шельмовать критиков, как это делают гг. Марамзин, Хвостенко, Глезер, можно и в самом деле употреблять выражение самих авторов письма, «лишить их воли к сопротивлению» и сделать невозможным самое существование литературной критики, которой свобода необходима, как воздух.

Остается напомнить мнимым защитникам свободы слова, пытающимся заткнуть рот всем, кто высказывает о них нелицеприятные суждения, что у литературной критики есть иные, более важные цели, чем раздача очередных похвал и раздавание преувеличенных репутаций, к которому они хотят ее обязать.

Н. Рославлева

Дорогой читатель! Эти споры, которые, к сожалению, крутились больше всего вокруг одного Лимонова, о котором и нам, если приведись, нашлось бы что сказать, мы привели исключительно для того, чтобы продемонстрировать, ничего не подбирая специально, два типа критики. Вы видите, с одной стороны, имена писателей, известных вам по самиздату, по "Континенту" и другим свободным журналам. Они всерьез заботятся о происходящем в литературе и умеют оставаться доброжелательными, даже если им что-то не по вкусу. Вы видите, с другой стороны, рассерженного обывателя, который неоправданно (и не слишком зная русскому языку) рассуждает на чуждые ему, но ревнуемые темы. И водораздел лежит здесь вовсе не в цифре номера эмиграции, как часто любят сейчас объяснять. Видно, специфика газеты такова, что в ней всегда находится возможность для посредственности, мечтавшей стать литератором и не ставшей им, учить нас жить, писать и изъясняться на свой манер. Для советской газеты это стало правилом, но здесь нас это еще удивляет. Видно, прав Ефимов: не всегда дело в политике, психология тоже не последняя вещь. Одно непонятно: чего же так боится здешний критик, что не смеет выступить под своим настоящим именем? Ведь даже в самиздате — что опасней — почти никто не скрывается за псевдонимами. Или он чувствует, что шкодит, и боится? Писатель стал сегодня не светский, да и на руку скор.

Заверяем ответственно: нас вполне устраивает основное преимущество свободы — никто здесь не может помешать нам делать то дело, которое нам кажется единственно важным: литературу. И так, как мы ее понимаем.

В номере:

БОРИС ВАХТИН У пивного ларька. Рассказ	4
СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ Из стихотворений 1968-76 гг	8
М.Л.КОЗЫРЕВА Девочка перед дверью. Повесть (окончание)	16
АЛЕКСАНДР МИРОНОВ Стихотворения	50
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВ Записки сумасшедшего	57
ВЛАДИМИР МАРАМЗИН Смешнее чем прежде. Цикл рассказов	67
А.ХВОСТЕНКО Два сонета для Р.Г.	88
ВИКТОР ТУПИЦЫН Метаморфозы третьего лица	90
ЭМИЛИЯ ДИКИНСОН Семь стихотворений. Перевод Генриха Худякова	95
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР Я - человек с двойным дном. Отрывок из книги	99
ПЕТР ВАЙЛЬ АЛЕКСАНДР ГЕНИС Страсти по Ерофееву	109
ДОБАВЛЕНИЕ Два типа критики	118

ЭХО

Ежеквартальный литературный журнал

Основное содержание - литературный процесс в России в течение последних десятилетий. Проза, стихи, литературная критика. Публицистика. Более двух третей журнала составляют материалы различного литературного самиздата "оттуда", из России. Многие имена годами работающих в литературе писателей появляются в печати впервые. Публикации. Переводы. Юмор. Современная лексика.

ТОЛЬКО ВО ФРАНЦИИ:

Условия подписки в редакции - 65 французских франков
(4 номера в год) с доставкой

В других странах журнал можно приобрести:

В Германии:

A. Neimanis Buchvertrieb, Bauerstrasse 28,
8000 München 40, Germany, tél. 37.05.34

В США и Канаде:

Издательство "Ардис", "RTL/Ardis Publishers",
2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104, U.S.A.
tél. (313) 971.2367

В Австралии и Новой Зеландии:

Михаил Ульман, Michael Ulman, P.O. Box 335, Maroubra,
N.S.W., Australia, tél. 349.84.84

В Израиле:

Ирина Гробман, Irina Grobman, 28 Ephraim str. Bak'a
Jerusalem, Israel, tél. (02) 712.493

В Париже журнал продается во всех русских магазинах
Цена номера - 20 франков



ЭХО · ЕСНО

ПАРИЖ · PARIS